

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ | АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ  
ИРИНА МУРАВЬЕВА И ДРУГИЕ

# МЫ ПАМЯТИ ПОБЕДЫ ВЕРНЫ

ЛУЧШИЕ РАССКАЗЫ  
СОВРЕМЕННЫХ  
АВТОРОВ О ПОБЕДЕ



**Роман Валерьевич Сенчин  
Андрей Валерьевич Геласимов  
Юрий Михайлович Поляков  
Юрий Васильевич Буйда  
Ирина Лазаревна Муравьева  
Сергей Анатольевич Самсонов  
Ариадна Борисова  
Валерий Валерьевич Панюшкин  
Михаил Левитин**

**Мы памяти победы верны (сборник)**  
Серия «70 лет Великой Победы!»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=9598042](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9598042)*

*Мы памяти победы верны : лучшие рассказы современных авторов о Победе / Юрий Поляков, Андрей Геласимов, Ирина Муравьева и др.: Эксмо; Москва; 2015  
ISBN 978-5-699-79976-3*

#### **Аннотация**

Свидетелей и тем более участников той уже далекой Победы 1945 года сегодня осталось уже не так много: уходят наши старики, а вместе с ними уходит подлинная память о тех героических днях, ставших для мира поворотными. Спустя 70 лет многие забыли о значении Победы и легко верят в новые версии истории. Но современные писатели – Юрий Поляков, Ирина Муравьева, Валерий Панюшкин, Андрей Геласимов, Сергей Самсонов и другие авторы этого сборника – искренне и правдиво воссоздают атмосферу военного времени, психологию людей, обстоятельства, в которых – между жизнью и смертью – приходилось принимать самые непростые решения. Для многих авторов вдохновением служила биография его собственной семьи, поэтому у книги совершенно особенная аура. Она делает рассказы не просто интересными, но передает истинное ощущение преемственности поколений, ответственности за прошлое и будущее нашей страны и народа.

## Содержание

Ирина Муравьева	5
Валерий Панюшкин	18
Андрей Геласимов	35
Ариадна Борисова	42
Роман Сенчин	56
Михаил Левитин	61
Сергей Самсонов	85
Юрий Буйда	93
Юрий Поляков	96

# **Мы памяти победы верны (сборник)**

© Муравьева И., Панюшкин В., Геласимов А., Борисова А., Сенчин Р., Левитин М., Самсонов С., Буйда Ю., Поляков Ю., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

\* \* \*

## Ирина Муравьева Ты мой ненаглядный

Лазарю исполнилось одиннадцать лет, а Зиги – девятнадцать, и пока был жив отец, никто даже и не обсуждал, где красавец и умница Зиги выучится на адвоката. Разумеется, в Вене, а не в их провинции. И деньги на то, чтобы старший сын стал адвокатом, можно было выкроить: отец, после того как мыловаренный завод за долги перешел от него к кузену Иосифу, остался там управляющим. Долгов уже не было, меньше ответственности.

Умер он почти внезапно. Вечером поднялась температура, в груди заклокотало и засвистело, пришел доктор Унгар, покачал головой, прописал таблетки, сироп от кашля, спиртовые компрессы, лимонное, с медом, питье и сказал, что наведается завтра. Завтра больному будет лучше. Мама сидела у отцовской постели, маленькой рукой гладила его пылающий сухой лоб. К полуночи отец начал бредить, сорвал одеяло, пытался встать, кричал, что его ждут в Венской опере, но вскоре затих, губы его вдруг стали ярко-лиловыми. Мама разбудила Зиги, он выскочил из бывшей детской, где спал теперь один, – Лазаря перевели в маленькую боковую комнату, – набросил поверх пижамы пальто и побежал к доктору Унгару, который жил на соседней улице. Доктор Унгар пришел очень скоро, но уже не застал отца в живых. Мама раскачивалась из стороны в сторону, как стрелка в их черных настенных часах. А маленький голубоглазый Лазарь, не понимая, что отца больше нет, смотрел на него не отрываясь и ждал, что отец вот-вот зашевелится под одеялом.

Через два месяца после отцовской смерти мама настояла на том, чтобы Зиги, у которого закончились летние каникулы, вернулся учиться в Вену. Зиги уехал, а Лазарь с мамой остались. Денег было очень мало, и мама продала все свои украшения. Весной у неё появился ухажер – красивый, со смуглым точеным лицом, вдовец по имени Наум Айнгорн, человек очень нервный, вспыльчивый, но добрый, хотя непрактичный, неловкий и мнительный. У Наума Айнгорна своих детей не было, и, когда мама вышла за него замуж, он решил, что теперь будет относиться к осиротевшему Лазарю как к родному сыну. Но не получилось. Мама, прежде такая веселая и беззаботная, выйдя замуж на Наума, стала осторожной, присматривалась к своему быстро взрослеющему сыну, боясь, чтобы его не обидел новый муж и чтобы быстро взрослеющий сын не сделал чего-то такого, от чего новый муж начнет раздражаться и хлопать дверями. Потом родилась в доме девочка Лия, и вроде бы всё успокоилось. Жили они тогда уже не под австрияками, а под румынами, но говорили по-прежнему по-немецки, и гимназия, в которую ходил кудрявый голубоглазый Лазарь, считалась, как раньше, «австрийской». В тридцать седьмом Зиги вернулся из Вены. Он стал подающим надежды адвокатом, снял себе прекрасную квартиру, запонки на его манжетах блестели ярче, чем зрочки невесты из-под свадебного покрывала, и каждый вечер гибкий, тонкий, с причесанными на косо пробор волосами молодой адвокат пропадал либо в театре, либо в гостях у таких же, как он, адвокатов или докторов медицины. На одной из вечеринок он встретил Грету и бешено сразу влюбился. Грета немного косила, и это придавало её белому, белее, чем сливки, лицу особую прелесть. Даже когда Зиги, вставши на одно колено, делал ей предложение, она, полураскрыв нежные губы, смотрела не прямо ему в глаза, а словно бы в сторону, и Зиги от этого так волновался, что слова «люблю» даже не произнес.

Наум постоянно жаловался ему на строптивного Лазаря, и Зиги часто наведывался в гимназию, где обсуждал с учителями поведение брата, за которого чувствовал большую ответственность. Потом прибегал на футбольное поле, где Лазарь обычно стоял на воротах, и драл его за уши. Уши горели. В доме Наума постоянно не хватало денег: он был реставра-

тором старинной мебели, и если бы не его мнительность и постоянное раздражение на заказчиков, вполне можно было бы жить хорошо, но он не умел. Из города Сталино, бывшей Юзовки, двоюродный брат его Михель, помощник дантиста, писал ему письма, в которых рассказывал, какая судьба бы была у Наума и всей их прекрасной семьи, решишь они только сюда перебраться – в советский огромный промышленный центр, где всё для людей и всего всем хватает.

– Я в СССР не поеду, – сказал гибкий, тонкий, заносчивый Зиги. – И Грета моя не поедет.

Никто никуда ехать не собирался. Рано утром поднималось солнце над их старым городом, в котором пахло тем, чем пахнет здоровая жизнь: плодами из сада, землей и сеном, и даже лошади трясли гривами от радости, даже приговоренные к смерти быки на скотобойне вдруг начинали надеяться, что их не убьют ни сегодня, ни завтра.

В марте тридцать девятого Зиги купил автомобиль «Фольксваген». Соседи прилипали к окнам, когда белокожая Грета садилась за руль. «Мальш» с крутым лбом, золотистый «Фольксваген», вдруг трогался с места и мчался, как ветер, а синее небо слегка отражалось в его ярких стеклах. Не прошло и года, как румыны передали их город Советам. И все до единого: куры, коровы, и люди, и дети – все стали советскими. Лазарь как раз заканчивал гимназию, ему исполнилось восемнадцать. Грета ждала ребенка, и беременность делала её еще белее и прозрачнее, как будто она наливалась росой. У Лазаря появилась девушка, которую звали Сусанной, но Лазарь и все обращались к ней: «Сюся». Сусанна за пару месяцев освоила русский язык и наизусть читала Лазарю Сергея Есенина: «Холобая кофта, синие глаза, никакой я прафты милой не сказал...» Лазарь почти ничего не понимал, но на Сюсю смотрел с застенчивой жадностью. В апреле начались аресты. Забрали доктора Унгара, и соседка, страдающая бессонницей, увидела через окно, как остановилась черная машина, из которой вылезли двое, потом, уже у самого подъезда, к ним подошел дворник с какой-то женщиной, и тут же один из тех, которые приехали на машине, позвонил в дверь. Открыла прислуга, растрепанная, в белом ночном платье, её грубо отпихнули, и все четверо скрылись в темноте прихожей. Соседка погасила лампу и продолжала смотреть. Через полчаса вывели под руки доктора Унгара, который испуганно озирался, и шляпа ездил по его голове то в одну, то в другую сторону, как будто вся кожа большой его лысины была очень скользкой.

Через неделю пришли к Зиги. Старинные венские часы пробили три. Грета, которая должна была скоро родить, только что заснула: она засыпала под утро, боялась. Услышав резкий звонок в дверь, Грета подбежала к окну и распахнула его, как будто желая выпрыгнуть с шестого этажа на мощенную булыжником улицу. Зиги обхватил её обеими руками и начал оттащить. В дверь всё звонили. Тогда он открыл, прижимая к себе – кричащую, в белой широкой рубашке, с большим животом – молодую жену. Его увели. Грета, выскользнув тенью, дрожа, завела золотистый «Фольксваген», но долго сидела внутри неподвижно, как будто забыла вдруг адрес родителей. Через неделю сосед шепнул маме, что видели Зиги в окошке теплушки, в которой куда-то везли арестованных. Но этот сосед мог легко перепутать: таких же, как Зиги, – с проборами, – юношей в теплушках тогда увозили десятками.

Лазарю стало боязно разговаривать даже с Сюсей, хотя они были близки с ней и уходили далеко в горы, где Сюся его целовала так крепко, что на нежной шее Лазаря, и без того раздраженной бритвой, оставались огненные следы. В мае у Греты родилась мертвая девочка. Сюся объясняла Лазарю, что если Зиги ни в чем не виноват, то он очень скоро вернется, но жить так роскошно, как жили они, и ездить на этом их автомобиле в то время, как люди вокруг голодают, само по себе преступление. И Лазарь не спорил, хотя точно знал, что люди в их городе не голодают. Над своей кроватью Сюся повесила портрет товарища Сталина и часто смотрела на этот портрет, мечтая поехать в Москву и кататься в метро, пока не надоеет. Любовь их, однако, росла и кипела, она была больше всего остального, важнее

всего, что бывает на свете. В предгорьях Карпат каждый день попадались под ноги босых пастухов отпечатки их тел на зеленой и пышной траве. Потом шли дожди, и трава распрямлялась.

Война началась на рассвете, и к тридцатому июня всё, что было советского, ушло, убежало, распалось. Город оккупировали те же самые румыны, которые год назад отдали его товарищу Сталину. Начался такой хаос, что Лазарь совсем растерялся. Он был белокурый, задумчивым юношей, хотя и поднимал штангу такой тяжести, что, когда она, взлетев над его головой, застывала, на потном лбу Лазаря вдруг проступали лиловые жилы. Теперь оказалось, что жизнь – это что-то, похожее тяжестью на его штангу. Победители-румыны пьянствовали и грабили дома тех, которых, как Зиги и доктора Унгара, давно увезли не известно куда. Боялись, что скоро исчезнут продукты. Боялись прихода немецких частей. Боялись арестов, боялись расстрелов.

Сюся, полная решимости, сказала своему молодому другу, что ждать больше нечего. Пора уходить, пробираться к своим. Лазарь не понимал, где свои, где чужие, его тошнило от страха, но не за себя одного, а за всех: вокруг убежали, прощались и плакали. Никто – ни один человек – в это время не знал, что с ним будет.

Ночью они ушли. Сюся сколотила небольшую группу: с ними уходил друг Лазаря Эрих, веселый, застенчивый и узкоплечий, прекрасный скрипач, со своей сестрой Бертой и мужем её пианистом Ароном. А ночь была жаркой, томительно-нежной, и горы Карпатские смутно белели своими высокими чистыми травами, которые даже от запаха крови и то сразу сохли. Мама долго целовала его, и последнее, что запомнил Лазарь, были её слезы, которые лились по его лицу и шее, затекали за воротник, их было так много, что вся его майка и даже резинка трусов стали мокрыми. Наум, дрожа всем телом, притиснул Лазаря к себе и начал что-то бормотать, просить прощения, что не сумел стать ему ближе отца, но Лазарь его крепко обнял и тихо сказал ему: «папа». А Лия, сестра, темноглазая девочка, с круглой головой, на которой во все стороны росли немыслимой густоты, черные, с синим отливом, запутанные волосы, не плакала, только смотрела, кусая свои очень пухлые губы.

Они уходили пешком, в темноту, не зная, не подозревая, что это судьба их ведет по шоссе, где румыны, по-прежнему пьяные и бесшабашные, еще не успели расставить посты.

В Виннице, до которой они добрались за четыре дня, их долго допрашивали. Город должны были вот-вот сдать, люди разбегались, но вскоре возвращались обратно, поскольку бежать было некуда. Прокуренный начальник военкомата впился красными глазами в лицо Лазаря.

– Почему он по-русски не понимает? – спросил он у Сюси. – Ведь вы же советские люди?

– Но он не успел еще, – с тревогой ответила Сюся. – Ведь мы же недавно – советские люди.

– Но ты-то вот, видишь, успела, – заметил начальник и вдруг перевел на неё красный взгляд.

И Сюся, всегда возбужденная, яркая, наполненная своей первой любовью, вся сжалась от этого красного взгляда.

– Останешься здесь, будешь переводить, – сказал он. – А этих всех порознь.

Пришла немолодая женщина в погонах и короткой юбке, открывавшей её набухшие, как разваренная капуста, колени, и увела с собой Сюсю.

Никто из них больше не видел друг друга.

Когда начальник военкомата, изголодавшийся по женскому существу, велел привести Сюсю к себе на квартиру, он не собирался её убивать. Он просто хотел её сильного тела.

И ждал её: в белой несвежей рубаше, расстегнутой так, что видна была грудь, заросшая старой, седой, редкой шерстью.

– Садись, – сказал он. – Будешь пить?

Достал два стакана, налил из бутылки. У Сюси глаза стали черными ямами.

– Но-но! Без истерик, – сказал он. – На, пей.

Она замахала руками:

– Не буду.

– Как хочешь, – сказал он и выпил.

Потом оглядел её всю. Как лошадка стояла она перед ним: мускулистая, с крутыми боками и выпуклой грудью, с кудрявой, лохматой, как грива, косой.

– Давай только живо, – сказал он. – Раз-два. Законы военного времени.

И сразу толкнул на кровать. Сюся вывернулась и ребром ладони изо всей силы ударила его по лицу. Он отшатнулся от неожиданности, и она, не давая ему опомниться, вонзила растоптанный грубый каблук с железной набойкой в живот командиру. Тогда он её застрелил. Будешь знать.

Тою же ночью Лазаря, не подозревающего, что Сюся уже часа два как зарыта в нагретую летнюю землю, записали рядовым в одну из отступавших военных частей. Он всех потерял. И его потеряли. Жизнь стала войной, а война стала жизнью. Ему говорили: «Стреляй». Он стрелял. Кричали: «В атаку!» И он шел в атаку. При этом внутри него не было ни одного ясного чувства, ни одной связной мысли. Пару месяцев назад он горячо любил маму, Сюсю и плакал от страха за Зиги. Теперь он и не сомневался, что мамы и всей их семьи давно нет, а думать о Сюсе ему стало страшно. Он был еще сильным, но очень худым, курил, ненавидел спиртное. Солдаты учили его бранным русским словам.

Прошел почти год. За всё это время у него ни разу не было женщины, но несколько ночей подряд снилась какая-то незнакомая девушка, ничем не напоминавшая Сюсю, с грустными глазами. Он гладил её лицо, целовал эти глаза и чувствовал, как её нежные веки дрожат, словно крылышки пойманной бабочки. Хотелось бы встретиться с ней, но и девушки не существовало.

– Ты – милая, милая, – шептал он по-русски и сглатывал ком не то своих слез, не то крови. – Ты самая милая.

Он был очень голоден. Сильно, всё время. Однажды, в окопе, он вспомнил инжир, которым его угостил отец Греты. Инжир был морщинистым и маслянистым.

– Он так хорошо помогает от кашля, – сказала тогда мама Греты. – Ты любишь инжир с молоком, милый Лазарь?

В конце сорок второго года из Кремля поступило распоряжение: снять с фронта бывших румынских граждан и отправить их за Урал в трудовую армию.

\* \* \*

Ему повезло. Небеса так решили: чтобы он еще жил, жил и жил. Еще был нетронутый свиток событий, ночей, дней, ночей и заново дней, которые ждали его. Еще была я. Мне досталось держать его руку в последнюю ночь.

\* \* \*

Лазарю повезло, потому что его отправили не в лагерь, а на поселение в деревню Чалки. До Чалок от станции, на которой остановился товарный состав, всю ночь шли пешком. Высоко над головами громоздились серые облака, луна, перед тем как растаять, взглянула на них равнодушно, вздохнула: «Помрете вы все».



А он вот не помер. Бои начинались, едва рассветало. Они наступали на лес так, как прежде на них наступали враги в серых касках. Они воевали с деревьями. Высокие, в колючем серебре, сосны знали, что их ждет. Черные существа копошились внизу и были похожи на насекомых. По двое они подходили к сосне, топтались вокруг и потом, хрипло крикнув и сплюнув на снег чем-то желтым и горьким, похожим слегка на смолу, принимались пилить. Дерево умирало медленно. Охватывающая его боль поднималась от корней, сведенных судорогой, до самых вершин. Вершины, тускло освещенные еще не разгоревшимся по раннему часу солнцем, начинали тревожно шуметь, пытаясь привлечь к своей смерти внимание, проститься навеки, и тут же в ответ им шумели другие, такие же, ждущие смерти, вершины. Бои шли до самого позднего вечера. Голодные и озлобленные люди продвигались всё глубже и глубже в заснеженную тьму чужого мира, безжалостно убивая его коренных жителей, которые, став мертвецами, обрубками, лишившись ветвей, с тонким, жалобным скрипом, давали связать себя и очень сильно, отчаянно долго еще сохраняли сосновый свой запах.

Лазарь был молодым и выносливым. Если бы не постоянное чувство голода, он, может быть, оледенел бы всем сердцем, забыл обо всём, обо всех. Но голод его будоражил. От голода он становился живучим. От голода он не мог спать. Изба, куда его с первого дня подселили к старухе Анисье, из раскулаченных, давно схоронившей детей, мужа, внуков, высокой, с ресницами, снега белее, с морщинами, глубже следов от полозьев, была вросшим в землю, трухлявым строением. Он ел свой паёк за синей ситцевой занавеской, нарядно отгородившей топчан, на котором он спал, от печи. Анисья, прямая, в платке до ресниц, толкла в медной ступке сухую крапиву. Её добавляли в муку. Съеденный за один присест кусок серого, всегда слегка влажного хлеба усиливал голод. Он даже не чувствовал вкуса того, что быстро прожевывал, сразу же сглатывал. Анисья ему говорила:

– Попей. Вода холонит и тоску разгоняет.

Он слушался, пил. Анисья могла бы его ненавидеть: её сыновья давно сгнили в земле, а он, – не понятно чей сын, – был жив и дышал. Но в ней была жалость, хотя и негромкая: на всё нужны силы. Посреди ночи он просыпался от голода, Анисья храпела во сне. Тогда он вставал, выходил, стуча зубами, в ледяной чулан, где висели связки лука и несколько связок грибов. Если бы мама или Зиги – в скользющем, сиреневом, шелковом галстуке – его сейчас видели! Он воровал лук, осторожно отколупливал сморщенные чешуйки и быстро жевал их, потом сосал кислый коричневый гриб и, чувствуя, что уже хочется спать, ложился опять на топчан. Во сне к нему шли Сюся с Гретой, и Лия, и отчим, и мама, и Эрих с Ароном, но их относил порывами ветра.

– Жанился б ты, Лёша, – сказала Анисья. – Мушшина тут есть. Из Москвы. Их эвакуировали от фашистов. Яврей, как и ты. С дочерами. Кудлатые! Они тебя, может, подкормят.

По пятницам Лазарь ходил в комендатуру за двенадцать километров в областной центр Юзгино и там отмечался.

– Ишшо не сбежал? – добродушно спрашивал его одноногий комендант с прокуренными, желтыми, жесткими, как старые иглы у сосен, усами. – Ну-ну. Далеко не сбежишь...

Эвакуированные жили в бараках на берегу Тути, речонки широкой, но мелкой, безрыбной.

– Дак как я пойду? – с немецким акцентом, но так же тягуче, как здесь говорили, спросил он однажды. – Зачем я им нужен?

– Старухи сказали: «Жанить надо Лёшу. А то он помрот у тебя. Пушшай лучше к этим явреям идот. Поскоку у них пишша есть».

– Откуда у них сейчас пишша? – спросил он.

– Дак умный мушшина, яврей. Пошел счетоводом в колхоз. Ему лошадь дали. А там, может даже, корову дадут. В бараке живет, а особо от всех. Хороший барак, самый лучший. И с хлевом.

На рассвете в пятницу Лазарь долго мыл ледяной водой из кадки отросшие за зиму русые кудри.

– Ишшо не сбежал? А? – сказал одноногий. – Ну-ну, далеко не сбежишь...

К двери барака вела протоптанная в глубоком, твердом снегу дорожка. На самом пороге – ободранный веник: смахнуть с себя снег, чтобы не наследить. Ему стало стыдно за то, что он голоден, но он пересилил свой стыд, постучался.

– Входите, открыто, – сказал хриловатый девический голос.

В низкой комнате с бревенчатыми стенами стояла кровать, покрытая вязаным покрывалом, стол, две лавки. Топилась печь и сильно пахло сосновой смолой. Маленькое кривое окно наполовину заросло с улицы лебяжьим сугробом.

– Вы к папе? – спросил этот голос.

Лазарь не отрывал взгляда от своих валенок и не видел той, которая разговаривала с ним.

– Чего вы молчите?

Он поднял глаза. Девушка лет двадцати, хорошенькая, с коротким прямым носом и большими лучистыми глазами смотрела без тени улыбки. Её хриловатый простуженный голос мешал тёмно-синим лучистым глазам.

– Вы кто? По какому вопросу? – Она начала раздражаться.

Из-за занавески, которая разгораживала комнату, выскочила пожилая, в мелко-серебристых кудряшках на лбу и висках, горбоносая женщина с вязанием в крошечных пальцах.

– Вы к Якову Палычу? А он в конторе. – Она улыбнулась неловко, пугливо.

– Я на поселении тут, – сказал Лазарь.

– Анечка! – захлопотала кудрявая. – Предложи молодому человеку снять верхнюю одежду. Проходите, пожалуйста. Мы знаем, как трудно живут поселенцы. Садитесь. У нас тут тепло.

Он снял во многих местах продырявленный ватник, который был очень велик, и всё под него задувало. Сел, сжимая ватник в руках, и опять опустил глаза.

– Хотите попить кипятку с горным медом?

Из-за той же самой занавески вынырнули еще двое: девушка постарше, чем первая, с глазами поменьше, неяркими, светлыми, и с ней очень похожая на Анечку, скорее всего, её мать, – вся седая, с лицом таким робким, как будто за жизнь никто никогда её не приласкал.

– Да нет, – сказал он. – Ничего не хочу. Пришел познакомиться.

Горбоносая, с серебристыми кудряшками, поставила перед ним чугунок с горячей картошкой, миску, пододвинула блюдце с крупной серой солью, потом сестра Анечки, по-прежнему не двинувшейся с места, нарезала на доске вынутый из печи горячий, с темно-золотой коркой, хлеб. Голова у него закружилась так сильно, что Лазарь слегка пошатнулся на стуле. Анечка подхватила его под локоть маленькой, но жесткой рукой.

Обжигаясь и торопясь, он ел растрескавшимися пересохшими губами картошку, отгрызал слабыми зубами хлеб и проглатывал, не разжевывая, а три женщины сидели напротив, подпершись, и смотрели на него. Анечка стояла, прислонившись к печке тоненькой спиной, и глаза её из темно-синих, лучистых, становились черными. Когда он наконец сглотнул последние крошки, Анечка принесла банку густого, темного мёда и чистую ложку.

– Вот, – громко сказала она. – Попробуйте. Вкусно.

От сладости и крепкого запаха меда у него опять закружилась голова, и его начало сильно тошнить. Он испугался, что его сейчас вырвет, и вся эта сытная, прекрасная еда выва-

лится из живота наружу, а он будет голоден так же, как прежде. В дом, стуча обмороженными валенками, вошел старый, но крепкий человек с внимательным взглядом, блеснувшим на Лазаря. Он понял, что это хозяин, и встал.

– Спасибо, – сказал он. – Я ел у вас тут.

– Соня, – спросил вошедший. – Кто это?

– Иаков, – заволновалась женщина с серебристыми кудряшками. – Мы сами не знаем, Иаков! Пришел, мы его накормили... Он из поселенцев.

– Еврей?

– Я еврей, – сказал ему Лазарь.

– Садитесь, – вздохнул Иаков и пожевал лиловыми с мороза губами. – Садитесь и кушайте. Что вы вскочили?

Он ел мёд, запивал его кипятком и быстро, блаженно пьянел. Глаза его сами закрывались, заволакивались изнутри слезами, и дико хотелось смеяться от радости. Анечка осторожно отодвинула от него ополовиненную банку.

– Вам плохо же будет!

Он покорно кивнул, облизнул ложку и аккуратно положил её на пустую тарелку.

– Отдай ему банку! – сказал ей отец. – Раз хочет – пусть ест.

\* \* \*

Ты – мой ненаглядный. Может быть, всё это было и не так, не совсем так. И имена другие, и мёд был, наверное, светлым. А может быть, не было мёда. Но разве сейчас это важно? Разве сейчас – в никем не осознанной глубине, которую свет заполняет собою, в которую мне путь заказан до срока, а ты уже там, – разве во глубине и свете мы призваны помнить подробности?

\* \* \*

Первую неделю он почти ничего не замечал, кроме еды. От дома Анисьи до барака, где жил Яков Палыч с семьей, было не меньше двух часов пути, но теперь у него появились силы, он был почти сыт.

– Ишь, как залоснился! – сказала Анисья. – Ишь, мраморный весь.

Она подходила и грубой, но ласковой рукой приподнимала его отросшие надо лбом кудри. Кожа под волосами была белой, как позёмка.

– Ты время-то там не тяни. А то ведь уедут они, не догонишь. В Москву ведь уедут, как немца прогоним.

И Зиги, которого он всё чаще видел рядом по ночам, говорил то же самое. Зиги приходил в рваном и засаленном, с чужого плеча, тулупе, один рукав у которого был пришит недавно и резко выделялся своим ярко-оранжевым цветом. Лицо брата не изменилось нисколько.

– Я жду сюда Грету, – сказал он однажды. – Теперь уже скоро.

– А мама с тобой?

– Она еще там. Ты разве не видишь её?

– Нет, не вижу.

У Зиги задрожали веки.

– Я знаю, что все еще там. И отчим, и мама, и Лия. А Грета ко мне очень скоро придет.

Теперь – если бы принесли телеграмму «все умерли» – Лазарь бы ей не поверил. Мертв был только Зиги, но он любил Лазаря, поэтому и возвращался к нему.

Старшая дочь Иакова, или, как все называли его, Якова Палыча, Дора всё пыталась улучшить минутку, чтобы поговорить с Лазарем наедине. Она заочно училась в Томском университете и собиралась стать историком. Младшую сестру Мириам, которая саму себя переименовала в Анечку, Дора не перевариварила с детства.

– Тебя зовут Лазарем, верно? – спрашивала она, сверля Лазаря небольшими светлыми глазами с голубоватыми тенями под ними. – Ведь ты же не станешь требовать, чтобы тебя называли Апполоном?

– Анистья меня давно Лешей зовёт. Я даже привык.

Дора фыркала громко, как лошадь, и быстро наматывала кудрявую прядь на указательный палец. Они сидели у печки, которая только что разгорелась и дымила. Мать и тетка пошли доить коз, которых у Якова Палыча было три: Алиса, Виолетта и Тамань. Анечки дома не было.

– Она и над козами поиздевалась! – дрожащим голосом сказала Дора. – Ведь это она им дала имена! Какая «Тамань»? Тамань – это город на юге!

Лазарь молчал. Он, не отрываясь, смотрел на муку, которая возвышалась над поверхностью стола желтоватой длинной горкой, странно напоминающей крышку гроба, и думал о том, что пора бы печь хлеб. Дора пододвинулась к нему и, резким отчаянным движением схватив его горячую руку, потянула её к своей талии. Он сразу отпрянул: Дора не привлекала его, и в теле Лазаря ничего не отозвалось, но она всё теснее и теснее прижимала его ладонь к своей штапельной кофточке, на которой были какие-то вылинявшие голубые бутоны, и даже попыталась опустить его ладонь еще ниже, где начиналось крутое и тяжелое бедро. Он понял, что если сейчас убежать, то Дора его сразу возненавидит и он тогда больше сюда не придет. Как можно вернуться в тот дом, где тебя ненавидят? И есть в этом доме картошку и хлеб? И пить молоко Виолетты с Таманью? Глаза Доры стали как будто слепыми, а губы её вдруг раскрылись, разбухли. Он испуганно покосился на окно, застланное сугробом, и тихо вытянул свою руку из её вспотевших рук.

– Нельзя. Мы с тобой не одни.

– Тебя ведь могли бы убить! – сказала она. – Мы тогда бы не встретились!

– Я на поселении здесь. – Он запнулся. – Меня еще могут убить даже здесь. Меня везде могут убить.

Она опустила глаза:

– Ты Мириам любишь? Но только не ври!

В комнате стало почти темно, разгоревшаяся печь красиво и ровно шумела. Мучная атласная горка была чуть заметна.

– Не ври мне! Не ври! – вдруг заплакала Дора. – Они мне все врут: и мама, и папа, и Соня! Про Мириам не говорю!

– Зачем они врут?

– Я тебе объясню. – Быстро и горячо заговорила: – Ты сам всё поймешь! У папы в Москве есть любовница. Я слышала их разговор. Два года назад. Перед самой войной. И папа сказал тогда маме: «Ты знаешь, что я никуда не уйду. От Мириам я никуда не уйду. Она тяжело нам досталась с тобой». И да! Это правда! Её от чего только не лечили в Москве! Она у них всё умирала! Всю жизнь! А папа всегда с ней носился! Всегда! «Майн тахтр, майн тахтр!»<sup>1</sup> А я была папе почти безразлична! Потом он сказал, что не сможет уйти: его эта женщина – русская, слышишь? Она не еврейка. Ты понял меня? А он никогда не уйдёт к русской женщине!

– И так всю жизнь врут? – спросил он простодушно.

---

<sup>1</sup> Моя доченька, моя доченька! (*иди*)

– Ах, да! Так всю жизнь. Ты видел, какие у мамы глаза? И Соня всё знает. Но Соня сама...

Тут Дора запнулась.

– Что Соня сама?

– Она даже замуж не вышла, вот что! И всё из-за папы. Она его любит. Он, кажется, думал жениться на Соне, но мама была из богатой семьи, а Соня – двоюродная, без отца. И выросла в бедности... Соню мне жалко. Сестра моя с ней, как с прислугой! А Соня ни в чем ей не перечит. Ей лишь бы при папе. Он Соне сказал: «Мы сразу простимся, когда я почувствую, что больше в тебе не нуждаюсь. Решай». Она и боится. И коз научилась доить лучше мамы, и кур развела, лишь бы он не прогнал.

Дора горько, навзрыд плакала, прижавшись к плечу его мокрым лицом. Он сразу подумал про Сюсю. Она, может быть, тоже плачет сейчас. Прошло ведь два года. А жизнь человека – такая же, как у деревьев в лесу. Поднимешь свою обреченную голову, шепнёшь в облака: «Жить хочу, помоги!», а там и поникнешь, и весь ослабеешь. Придут с топором и порубят на части.

Плечо его в засаленной, тяжелой от пота гимнастерке стало мокрым от её слез. Он тихо погладил её по скользкой, тоже как будто раскалившейся и слегка дрожащей от рыданий косе. Дора подняла голову, притиснула его к себе обеими руками и быстро прижалась губами к его растрескавшимся губам. Дверь за их спинами громко хлопнула. На пороге, вся запрошенная, с белыми пушистыми ресницами и блеском своих круглых глаз сквозь ресницы, стояла сестра Доры Мириам, которую все звали Анечкой. Старухи в деревне о ней говорили: «Мала больно, чистая кукла, не девка».

Она закусила губу и с каким-то диким озлоблением, которое было трудно даже предположить в девушке с такими лучистыми глазами, сказала отдельно:

– Я вас поздравляю.

И тут же исчезла.

– Ну, всё, – прошептала испуганно Дора. – Теперь нам принцесса устроит! Увидишь!

Он бросился следом за Анечкой. Было совсем темно, какой-то слабый огонек – звезды или отблеска бледной звезды – тревожно замигал в небе, как будто ему подавали надежду, как будто бы чья-то душа – Зиги? Сюси? – хотела его поддержать в этом мире, который обоим уже был чужим. Торопливо ступая большими, с крепкими добротными заплатками на пятках, валенками, приблизились к дому жена Яков Палыча и Соня, двоюродная, приживалка.

– Ты, Лазарь, опять наших девушек ждешь?

– Нет. Анечка только что вышла куда-то, а Дора там, в доме.

Они удивились:

– А Анечка где?

Он не успел ответить: повалил такой снег, что все трое задохнулись от неожиданности.

– Ву майн тахтр?<sup>2</sup> – сквозь вату тяжелого снега услышал он голос испуганной матери.

Лазаря обожгло стыдом.

– Сейчас я найду её, я приведу!

Он бросился направо и тут же провалился, зачерпнул валенком ледяного, пронзившего холода и, чувствуя, как в горле начинает стучать от страха, высвободился и, разгребая глубокий снег обеими руками, начал двигаться дальше. Вокруг было и темно, и одновременно странно светло от снега. Все звуки исчезли, только в голове стоял шум собственной крови.

---

<sup>2</sup> Где моя дочь? (иди)

– Унд во их бин?<sup>3</sup> – резануло его по самому сердцу, и твердая уверенность, что это конец, что он никогда не вырвется, никогда не увидит ни дома, ни мамы, ни Сюси, охватила его с такой силой, что он опустился на снег и зарылся в него всем лицом, как собака.

– Их бин им криг!<sup>4</sup>

И тут же он вспомнил, что в этой метели нетрудно погибнуть и нужно идти и искать эту девушку, которая так на него обозлилась. А что он ей сделал? Лазарь поднял голову. Снег валил на него сначала беспощадно, густо, яростно, но потом, на самой вышине, вдруг растворился на секунду, и прозрачный дым не то лунного, не то какого-то другого света еще раз блеснул на него. Он сделал шаг влево и сразу наткнулся на что-то живое. Сквозь белизну проступила фигурка Анечки, идущей навстречу ему, увеличенной едва ли не вдвое налипнувшим снегом. Лазарь снял рукавицу и коснулся её холодного лица.

– Тебя там все ищут, – сказал он с усилием.

– И больше всех Дора, – с издевкой сказала она. – Я вся обморозилась здесь. Я шагу не сделаю больше.

Тогда он взял её на руки и понёс.

\* \* \*

Ты мой ненаглядный. У тебя были глаза такой голубизны, что, даже когда мы с тобой умирали, нам осталось два дня до минуты, когда лоб твой стал ледяным, ты вдруг посмотрел на меня тем вернувшимся, совсем молодым и совсем голубым, – таким голубым, что сейчас его чувствую, – сквозь всю нашу жизнь и сквозь всё моё детство, – внезапно вернувшимся взглядом. Я помню.

\* \* \*

В конце февраля Анечка, покусывая нижнюю губу, сказала матери, что её всё время тошнит. Весь этот месяц Иаков, наблюдая за своей любимой младшей дочерью, строптивой, упрямой, с лицом как у куклы, но с очень решительным, жгучим характером, чувствовал, что сердце его готово выскочить из груди от боли. Но, кроме боли, у Иакова – Якова Палыча, всеми уважаемого бухгалтера совхоза «Сибирские Выси», – была еще гордость, и именно гордость не позволяла ему схватить приблудившегося к ним красавчика Лазаря за его темно-русые кудрявые виски, притиснуть к стене и спросить:

– Ты, Лазарь, о чем себе думаешь?

А Лазарь не думал. Он приходил к ним в дом почти ежедневно, его там кормили и потихоньку вытягивали из его недозревшей испуганной души всё, что она накопила за жизнь. Они уже знали про маму и Зиги, про Грету и Лию, Наума, про доктора Унгара и про гимназию. Скрывал он от них только Сюсю. Дора страдала от неразделенной страсти и так безутешно плакала по ночам, что к утру наволочка её была насквозь мокрой. Анечка смотрела мимо Доры, мимо Сони и только, встречаясь взглядом с отцовскими настороженными и огорченными глазами, слегка поджималась, как будто робела. С Лазарем она стала женщиной. Это случилось через два дня после того, как он отыскал её в дымящейся выюге и на себе приволок домой. Случилось внезапно, каким-то порывом, и Лазарь хотел даже встать на колени, когда она вся искривилась от боли.

– Прости меня, Анечка, я...

---

<sup>3</sup> А где я? (нем.)

<sup>4</sup> Я на войне! (нем.)

– Дурачок, – сказала она. – Ты ведь любишь меня?

Началась новая жизнь. Невыносимо острые, не до конца понятные ей самой ощущения, которые Анечка теперь испытывала всякий раз, когда они оставались наедине, наполняли её каким-то странным, раздраженным сознанием власти над ним, как будто бы он был рабом, а она – госпожой. И то, что он ярко краснел и стеснялся, смотрел так, как будто сейчас убежит, – всё именно это ведь и подтверждало! А Лазарь страдал от стыда, от неловкости, казалось, что он виноват перед нею, хотя было видно, что оба нуждались в здоровой телесной любви. Когда Анечка уводила его за занавеску, где стояла её кровать, накрытая связанным Соней одеялом, и требовательно смотрела на него своими очень лучистыми глазами, уверенная, что его нерешительность вызвана опасением, как бы не вернулся кто-нибудь из домашних, Лазарю всякий раз хотелось сказать ей, что у него есть Сюся, и поэтому даже если он никогда не ляжет с Анечкой на эту кровать и никогда не закричит от чисто физической, сладостной муки, во время которой мужчина не помнит, ни где он, ни кто с ним, то он очень скоро забудет и Анечку, и запах её очень белого тела, и то, как она часто-часто моргает и не произносит ни слова во время их быстрых, пугливых, неловких сближений.

Через полтора месяца она сказала маме, что её тошнит, и мама вместе с Соней – обе закутанные в пуховые деревенские платки и перепуганные насмерть – выпросили у Иакова лошадь с подводой, чтобы отвезти Анечку в больницу. Иаков низко опустил голову, и видно было, как у него задрожала левая щека.

– Что с Мириам? – спросил он глухим рваным голосом.

– Она нездорова, – сказала жена. – Пусть доктор посмотрит.

– Пусть доктор посмотрит. – Он побагровел. – А мы с тобой разве без глаз? Мы слепые?

В областной больнице высокая, похожая на мужчину, с мелкой, кудрявой растительностью над верхней губой и вдоль щек, фельдшерица обнаружила, что Анечка беременна. Выслушав эту новость, немые от ужаса мама и Соня дрожащими руками напялили на Анечку шубку, всунули в валенки её крохотные ноги и, плача навзрыд все втроём, вернулись домой. Иаков в железных очках и в ермолке сидел за столом, на котором лежала раскрытая Тора. Он сразу всё понял.

– Иди сюда, Мириам. Садись и не бойся.

Лицо его словно подернулось пеплом. Стараясь не задевать взглядом её тела, как будто бы в теле её было что-то, чего он боялся, Иаков спросил, как же это случилось. Она промолчала.

– Тебе нужно замуж, – сказал он спокойно. – Где Лазарь?

– Но я не хочу еще замуж! Зачем мне? – И Анечка вспыхнула. – Я не хочу!

– Теперь уже поздно хотеть или нет.

Надел рукавицы, тулуп, волчью шапку. Ермолку сложил, завернул в кусок шелка. Прошел мимо Сони и мимо жены, как будто бы их вовсе не было в комнате. Через несколько минут, тяжело ступая валенками по скрипящему снегу, подвел уставшую лошадь к водовозке, и пока она бархатными, коричневыми губами пила из кадки, на которой разбила тонкий лед, ударив по нему мордой, обдумывал то, что ему предстоит. Было совсем темно, за снежной долиной, под которой стыла река, мертвым и неприкаянным светом блеснул тонкий месяц.

Лазарь выскочил на крыльцо босым, в одной рубашке.

– Она ждет ребенка. Ты знаешь об этом?

– Я – нет! Она мне ничего не сказала! – И Лазарь закашлялся хрипло и громко.

– Убил бы тебя, но ребенка мне жалко. Хоть толку с тебя, как с козла молока.

– Но мы с ней распишемся! Я ведь согласен!

– Сначала меня бы спросил: я согласен?

В проеме двери показалась Анисья с лучиной, горевшей кровавым огнём.

– Здоровья вам, – громко сказала она. – Зайдите в избу, заметёт.

– Здоровья и вам, – поклонился Иаков. – Мы поговорили уже. До свидания.

Их расписали в областном центре Юзгино. На Анечке было красивое платье, и Соня связала ей белую розу, которую Анечка вдела в пучок. Туфельки, купленные еще в Москве, она надела прямо в санях, поэтому Лазарь, причесанный на косой пробор и ставший похожим на Зиги, нес Анечку, словно ребенка, до самых дверей неказистой конторы. В конторе стоял крепкий запах махорки и талого снега. Вечером состоялась свадьба. Дом Иакова жарко протопили, посреди его устроили хупу: натянули ярко-белую простыню на четырех высоких столбиках, и под эту простыню встали смущенные молодожены. Слепая от слез, пропитавших лицо и сделавших красными тени подглазий, сестра новобрачной держала свечу.

«Барух Ата Адонай, Элохейну Мелех ха-олам ашер бара сасон ве-симха, хатан ве-хала... – серьезным, торжественным голосом нараспев произнес Иаков. – Благославлен Ты, Господь наш Бог, Царь Мироздания, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту...»

Лазарь смотрел на свою жену, у которой ярко горели щеки, а в лучистых глазах стояло диковатое удивление, потом переводил зрачки на её отца, который мог бы, наверное, убить его за то, что он, не любя, сделал его дочке ребенка, и думал, что эти вот тихие люди спасли ему жизнь и что, если бы Зиги увидел сейчас эту скромную свадьбу среди неподвижных алтайских сугробов, он был бы, наверное, рад за него.

\* \* \*

На следующий день Яков Палыч, всеми уважаемый бухгалтер совхоза «Сибирские Выси», начал хлопотать, чтобы мужу его младшей дочери разрешили перебраться к ним в барак и жить с ними общей семьей. Пришлось дать хорошую взятку одноному коменданту, но и от коменданта не много зависело. За взятку в военные их времена могли расстрелять и того, и другого. В конце концов, случай помог: в школе умер директор, хороший мужик, на себе всё тащивший. Он преподавал и немецкий, и химию. Вот тут Яков Палыч подсунул зятю.

– Уж кто-кто, а Лазарь сумеет! Научит!

Никто ему не возражал. Одноногий скрепя пьяное сердце подписывал справки.

Анисья, прямая, в платке по глаза, стояла на верхней ступеньке крыльца.

– Иди суда, Лёша, хоть перекрещу. Ты лук у меня воровал по ночам, – сказала она. – Думал, бабка-то спит. А я не спала, я жалела тебя. Пускай, – говорю, – хоть лучком поживится, а то ведь помрот. Когда старики помирают, не жалко, а ты молодой.

\* \* \*

Он больше не убивал деревья, предсмертный скрип которых наматывался на голову, как бинт, и не отпускал его ни днем, ни ночью, он преподавал теперь в школе, где строгие, с большими руками, уральские девушки всегда опускали глаза, отвечая. И спал он теперь не один, а с женой. Она заплетала кудрявые волосы, ложась с ним в постель, в очень толстую косу, конец у которой он ей перевязывал большой белой лентой с конфетной коробки, еще довоенной и очень нарядной.

Ночью Лазарь просыпался от того, что сердце его дико билось в груди. Ему это напоминало, как бились на рынке в родном его городе куры, которым особенно ловко и быстро, специальным топориком, резали головы. Анечка спала рядом, и её лицо с размашистыми, как листья папоротника, ресницами во сне становилось задумчиво-детским. Лоскутное одеяло бугорком приподнималось на животе: до родов осталось чуть больше недели.



Чего он боялся? Того, что ребенок умрет. Того, что придут и его арестуют. Того, что нет мамы, нет Лии, нет Зиги, Наума и Греты, Арона и Сюси. Есть только война. И война – это жизнь.

Ребенок родился в четверг. Хрупкий мальчик. Глаза как у матери, но голубые. Октябрь был тёплым. Когда они возвращались из больницы, подул свежий ветер и белую гриву их лошади вдруг позолотило слепящим закатом. Приблизив ребенка к лицу, Лазарь начал его согревать осторожным дыханием. Ребенок поморщился, но не проснулся.

*Ты – мой ненаглядный. Теперь, в том пространстве, где всё – только свет и куда не смогу пробиться до срока, – ты помнишь всё это? А помнишь, как ты мне сказал «моя доченька», когда уходил, оставлял меня здесь?*

## Валерий Панюшкин Красный командир в длинной шинели

22 июня 1941 года Нине было двадцать пять лет, но несчастной она стала в двадцать три. Ее несчастье началось с ночного стука в дверь. 31 декабря 1939 года.

Новый год тогда уже был немножко отпразднован двадцать шестой девичьей комнатой в общежитии медицинского института, и девочки ложились спать. Но тут в дверь забарабанили снаружи.

– Кто там? – крикнула Нина, потому что была активной комсомолкой и не должна была бояться ночных стуков.

– Нина Бочкарева здесь есть такая?

И безо всякой паузы дверь распахнулась, а на пороге стоял комбриг в длинной шинели и папаше корпуса «Ингерманландия» Финской Народной Армии. С огромным из хрустящей бумаги продуктовым свертком в руках. А из-за спины комбрига выглядывал Толик, тоже в длинной шинели, но в буденовке, сдвинутой на затылок, – белобрысая, курносая, растерянная финская морда.

– Ну? – Комбриг шагнул в комнату, как если бы вводил в прорыв на линии Маннергейма танковую свою бригаду. Он был такой плотный, что казался бронированным. – Которая тут Нина?

– Я Нина. – Нине даже нравился этот танковый напор.

– Ну, что, Нина, любишь ты моего Толика?

– Да. – Честное сталинское, Нина не знала, почему так ответила. – Хороший парень.

Этот белобрысый Толик четыре курса ходил за ней, как собачка на поводке. Толик Нине не нравился, но нравилось чувствовать на себе его собачий взгляд. Он боялся высоты, но прыгал вместе с нею с парашютной вышки в парке культуры. А когда Нина сказала, что прыжок с вышки – это не прыжок, Толик сдал нормы ГТО, стрелял на отлично, гонялся на лыжах среди первых и был, наконец, допущен к настоящему прыжку – с самолета. И потом носил значок прыжка, но все равно не нравился Нине. И даже когда Толик стал через день ходить с Ниной в аэроклуб учиться планеризму, Нина понимала, почему он ходит через день. Потому что приличные брюки были у него одни на двоих с товарищем. Девушки хорошо замечают, когда у ребят одни брюки на двоих, даже комсомолки.

Нина сначала сказала «да», а потом сказала «хороший парень» в том смысле, что любит Толика только как товарища. Вовсе не в том смысле, в котором говорят «я тебя люблю». Это же было понятно. Но комбриг не принял уточнений, ввалился в комнату окончательно, заорал «вот и устроим комсомольскую свадьбу!», зашептал «давай, девчонки, давай по-быстрому». И через минуту на столе явились из комбригова свертка осетровый балык, паюсная икра, копченый сиг, бочковая килька, водка и хлеб. А через две минуты Нина и Толик сидели уже во главе стола бок о бок, и комбриг стоял со стопкой водки в руке и говорил, что вверенной ему властью командира рабоче-крестьянской Красной Армии по законам военного времени объявляет военврача Анатолия Кананена и комсомолку Нину Бочкареву мужем и женой! Распишитесь! И они – Нина не понимала, что это за месмеризм на нее действует, – расписывались на листке бумаги, который комбриг тут же извлек из планшета. И девчонки расписывались как свидетели. Ура! Горько!

Нина выпила водки, и ей стало горько. Толик поднял ее под локти и неуклюже поцеловал при всех. Девчонки визжали, хохотали и хлопали в ладоши. А потом Нина не очень помнила, что происходило. Комбриг говорил еще что-то. Что-то пел. Про артиллеристов. Про невысокое солнышко осени и прямо Нине в лицо: «Принимай нас, Суоми-красавица,

в ожерелье прозрачных озер». А Нина и впрямь чувствовала себя красавицей, которая должна принять этих военных. В присутствии комбрига Нина как-то не ощущала себя по-крестьянски крепкой высокой девушкой с широкими бедрами и тяжелой грудью, – а хрупкой. И если бы комбриг завалил ее на кровать и взял, Нина не сопротивлялась бы. Но он взглянул на часы, захлопал и заторопился:

– Так, девчонки, оставляем молодых. Давайте, давайте, поночуйте где-нибудь по подружкам, – и принялся подталкивать Нининых однокашниц к двери, а в дверях обернулся и приказал Толику: – Четыре часа у тебя. В шесть ноль-ноль на вокзале.

Потушил электрический огонь, вышел и захлопнул дверь.

Нина и Толик остались вдвоем в темноте. В ту ночь у Толика ничего толком не получалось, как и у корпуса «Ингерманландия» тем временем не получалось взять линию Маннергейма. Военврач только ворочался на комсомолке, как большой червяк в нижнем белье, издавал сильный запах одеколona и намочил простыни. А Нина ничего не чувствовала, кроме того, что ужасно горят щеки. Задолго до рассвета Толик встал, оделся, не зажигая огня, и ушел на Финскую войну, так и не заметив, что простыни в их первую брачную ночь были мокры только от его семени, но не от ее крови, ибо она прежде любила другого – жгучего брюнета и бесстрашного планериста.

Нина не спала до утра. Лежала, укрывшись с головой, и пыталась поймать обрывки мыслей про то, что это и как это с ней случилось. Не знала, как наутро посмотрит девчонкам в глаза. Но утром выяснилось, что смотреть им в глаза можно с гордостью. Они с трепетом и любопытством возвращались в комнату, где оставался еще запах мужчины и военного. Они пытались шептаться с Ниной. Они, оказывается, сами хотели бы замуж за красноармейца, но красноармейцев не много было вокруг – ушли на войну.

Пока Толик там штурмовал район Сумма-Хотитен и рвался на Дятлово-Выборг вдоль озера Желанное, Нина тут как-то в роли замужней женщины освоилась. Ее поздравляли. Девчонки ей завидовали. Мужчины стали говорить с ней на серьезные и даже военные темы. Комендант общежития с почтением отнесся к свидетельству о браке, выписанному комбригом, и даже выделил Нине комнату для молодоженов, чтобы ждала своего военврача с победой. Он вернулся более или менее с победой и теперь оказался более или менее успешен в любовных делах.

В мае 41#го Нина родила сына, большого, курносого и белобрысого. Но мертвого. Сразу уже по стуку, с которым младенец упал на родильный стол, Нина догадалась, что он мертвый. И с тех пор Нине казалось, что все на свете смотрели на нее с осуждением, как будто она нарочно удушила ребенка в своих родовых путях. Она почти не выходила из комнаты. Только в библиотеку, чтобы набрать книжек для подготовки к экзаменам, разложить на кровати и сидеть над ними весь день, не разбирая букв. Ей не было жаль младенца. Она даже не знала, как Толик его похоронил. Ей было невыносимо стыдно потерпеть неудачу в, казалось бы, довольно простом деле деторождения.

22 июня 1941 года было первым днем, когда Нина согласилась на уговоры Толика пойти куда-нибудь вместе. Воскресенье, хорошая погода, Нина в платье из креп-гранита и набивного креп-гофре, Толик – в отпаренном кителе с начищенными пуговицами. Они шли на футбол.

В городе было много военных. Толик приветствовал их. Они бросали на Нину короткие взгляды, подобные выстрелу. Но Нине казалось, что все эти командиры ее осуждают и будто бы говорят: как же ты, комсомолка, не смогла родить сына этому веселому военврачу с сияющими пуговицами. А некоторые военные были с женами, и некоторые их жены были даже с детскими колясками. Эти женщины всегда смотрели внутрь своих колясок, никогда не смотрели на Нину, и Нине казалось, что жены командиров прячут от нее осуждающие

взгляды. Нина чувствовала, как жгучий румянец стыда расплзается по ее щекам. А встречные командиры видели крепкую румяную брюнетку, окидывали ее взглядом с головы до ног и мгновенно оценивали, что грудь у смуглянки хороша, а щиколотки широковаты.

На углу Большого проспекта и Лахтинской произошла совсем уж неприятная встреча. Нина шла, опустив глаза, и поэтому первым делом увидела английского бульдога. Он бежал на кривых толстых лапах, скрежетал когтями по панели, храпел приплюснутым носом и волок за собой на поводке – Нина подняла глаза – профессора Ильмъяр. Профессор Надежда Викентиевна Ильмъяр была женщиной, но всегда одевалась в мужское платье – в строгие костюмы с цепочкой от часов, нырявшей в жилетный кармашек. Волосы она носила короткие, седые и растрепанные ветром. В перспективе улицы, подсвеченная солнцем, на фоне стремительно летящих облаков, профессор выглядела величественно. До революции в фамилии профессора было два твердых знака. Назавтра Нине предстояло сдавать профессору экзамен по хирургии, и Нина знала, что с первого раза хирургию никто не сдает. Ожидала позора, тем более что и правда в связи с беременностью и неудачными родами пропустила много консультаций и лекций.

– Здравствуйте, профессор! – гаркнул Толик и протянул руку.

– Здравствуйте, миленький. – Надежда Викентиевна остановилась, бульдог продолжал, скрежеща когтями, бежать на месте. – Простите, не могу ответить рукопожатием. Беспокоюсь, знаете ли, о чистоте ленинградских улиц.

Правой рукой, одетой в хирургическую перчатку, профессор держала собачьи фекалии. Она всегда на прогулках убирала за своей собакой, студенты складывали легенды про это. Нина почуяла отвратительный запах, тошнота подкатила ей к горлу, и она не расслышала, что именно сказала ей профессор, улыбаясь и помахивая собачьим дерьмом. Кажется, что-то ободряющее насчет завтрашнего экзамена. В ответ Нина кивнула и потащила Толика по проспекту вперед к стадиону имени Ленина на Петровский остров.

На стадионе тоже было полно военных, и все в шутовском настроении. Толик провел Нину на трибуну, сел с нею рядом, держал за руку, а сам вертелся все время, перебрасываясь веселыми репликами с незнакомыми командирами, сидевшими справа, слева, ниже и выше. Кажется, он просто хвастался и хотел, чтобы все обратили внимание, какая у него жена в платье из креп-гофре.

Примерно в полдень, когда должен был начаться матч, диктор по радио, вместо того чтобы объявить составы харьковского «Спартака» и ленинградского «Зенита», сказал, что сейчас будет передана речь товарища Молотова.

Молотов заговорил. Поначалу Нина не могла понять, о чем говорит нарком иностранных дел. Замечала только, что говорит он плохо. В слове «гражданки» сделал ударение на первой «а» и повторил эту ошибку два раза. В слове «договор» сделал ударение на первой «о», эту ошибку повторив трижды. В слове «сплочен» сделал ударение на «о». Нина обращала на это внимания. Она была из Новочеркасска. Приехав в Ленинград, упорно боролась со своим донским говором и победила. К концу четвертого курса приучилась даже говорить твердое ленинградское «что» вместо южного «шо» или даже общепринятого «што».

А Молотов говорил плохо. Слышно было, что он даже не говорил, а читал. Да и читал, запинаясь. Никогда не мог произнести «наша страна» и даже «Советский Союз» без дурацкой паузы между словами. Перемежал официальный тон дипломатического заявления мальчишескими обзывалками – «разбойничье нападение», «состряпать», «заснавшийся враг»... Посреди речи стал вдруг рассказывать, как под утро приходил к нему немецкий посол Шуленбург и объявил войну за то, что Красная Армия слишком сосредоточилась на немецких границах, а он, дескать, Молотов возражал Шуленбургу, что ни разу ведь Германия не предъявляла по этому поводу претензий. Как нашкодивший мальчишка. Наша земля,

наши войска, где хотим, там и размещаем, – зачем же оправдываться? И голос у него был какой-то мальчишеский, тонкий и вздорный. Таким голосом неубедительно получалось говорить: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Разве так произнес бы эти слова товарищ Сталин?

Тем не менее все вокруг Нины поднялись. Все эти командиры стояли и слушали напряженно. Нина наконец сообразила, что это война. Ну и что что война? Только что было четыре войны. Финская была, Халхин-Гол, в Польшу вошли, в Бессарабию... Отличие этой войны, насколько понимала Нина, в том только и заключалось, что не мы напали освободить народы и громить врага на его территории, а на нас напали. Но это ведь ничего. Отбьемся же, отбросим. Толик уйдет на войну, не будет таскать ее по футбольным матчам в выходном платье. И вообще в людях появится эта вот особенная собранность, необходимая во время войны. И может быть, экзамен по хирургии отменят, ведь армии нужны врачи, ведь перед Финской отменили же и без экзаменов дали Толику диплом, хотя он так и не пересдал химию, заваленную с позором.

Сообщению о войне Нина даже обрадовалась. На глупом этом стадионе как-то вдруг все подтянулись, не стало вокруг никакого балагурства, никто не обмеривал больше взглядом Нинину грудь. Зрители направились к выходу, деловито переговариваясь, и на улице Нина ожидала увидеть чуть ли не красноармейские полки, марширующие повзводно.

Увидела, однако же, очереди. За какой-нибудь час длинные хвосты выстроились к дверям сберкасс и продуктовых магазинов. Люди бежали куда-то, волокли крупу в авоськах, прижимали к груди сберкнижки и облигации государственных займов.

Трамвай на Большой Пушкарской был переполнен. И многие пассажиры тащили по мешку чего-нибудь съестного.

Толик сказал, что ему срочно надо в госпиталь, и потом спросил:

– А на ужин-то что? Ничего же не купишь в таких хвостах.

– Можно и без ужина! – отрезала Нина.

– Можно, – согласился военврач. – Можно в столовой покушать.

И Нина чуть не убила его за это «покушать». Вот так бы и написала на него в горком партии, что, дескать, военврач и должен быть сознательный красный командир, а сам употребляет в трамвае мелкобуржуазные словечки.

А у самого почти института на Петропавловской улице у одной толстой женщины ветер вырвал из рук облигацию и понес. И она бежала за облигацией, хрюкая, как свинья, пока ветер не бросил ценную бумагу в речку Карповку. И баба заверещала:

– Что же ты, господи, светопреставление!

Тогда Толик спустился к речке по деревянным сваям, вытащил эту проклятую облигацию из грязной воды и вернул хавронье, почти не замарав кителя. А женщина кричала:

– Защитники! Защитники наши! Примут-то у меня ее мокрую? А, товарищ военный? А пошлите со мной в сберкассу, докажете!

Нина сказала:

– Успокойтесь, гражданка.

И подумала, что хорошо бы у них у всех отобрать эти сберкнижки и облигации, да сжечь. И крупу эту сжечь, и сухари, про которые в трамвае только и разговоров, несмотря на то что каждую войну правительство нарочно просит граждан сохранять спокойствие и не запасать продуктов впрок.

На следующее утро Толик ушел на фронт. Ночью он пытался ласкаться к Нине, как щенок тыкался в ее грудь носом, но она остановила его нос – «тихо, спи». Уходя утром, он оставил на столе сто сорок рублей денег и серебряные часы Павел Буре, единственную свою ценную вещь, которую принес с Финской в качестве трофея. Как он себе это представлял? Что Нина пойдет в комиссионный продавать часы? Глупость какая! Нина слышала,

как он собирался, видела, как ходил по комнате в водянистом свете ленинградской белой ночи, слышала, как пил воду из чайника. Но так и не встала его проводить.

Экзамены действительно отменили. Диплома пока не дали, но это только Нине, которая претендовала на диплом с отличием и простого диплома получать не хотела. Зато и без всякого диплома Нину сразу взяли в клинику ординатором. И она нарочно пошла к профессору Ильмъяр, которой побаивалась, попросилась в ее бригаду и была принята.

В эти первые военные дни серьезные приготовления в городе перемежались глупыми. Тяжелые тягачи везли по Кировскому проспекту пушки и гаубицы, но в то же время комендант общежития ходил с двумя красноармейцами по комнатам и требовал сдать для армии велосипеды, у кого есть. У Нины велосипеда не было, и она представить себе не могла, как на велосипедах воевать с фашизмом. Разве не глупость?

Постановлением Совнаркома ввели продуктовые карточки, но тут же открыли коммерческие магазины, где цены на масло и хлеб были вдвое выше государственных, а витрины ломались от икры и камчатских крабов. Разве не подлость? У Нины была рабочая карточка, восемьсот граммов хлеба и других продуктов соответственно. Нина свои продукты никогда до конца не выкупала. И зарплата у нее теперь была целых пятьсот рублей, но Нина никогда ничего не брала в коммерческих магазинах. Принципиально. Деньги оставались, и ничего страшного не бывало, если зарплату иногда задерживали – война же.

Во дворах и в скверах рыли убежища, но рыли плохо – даже от обстрела в такой щели нельзя было бы скрыться, тем более от бомбежек. Впрочем, ни обстрелов, ни бомбежек пока не было. По радио иногда объявляли воздушную тревогу, бешено тикал метроном, но вражеские самолеты к городу не могли прорваться, зенитчики работали хорошо.

Нина знала, что где-то там, на фронте, несмотря на тактическое отступление, царит порядок. В городе же часто наблюдалось разгильдяйство, а порядок – только у них в операционной. Надежда Викентиевна была строга, недели за две вымуштровала Нину, ни разу не повысив голоса, а иногда даже взглядом.

Хоть клиника и не была мобилизована, военным госпиталем не стала, но к августу пошли первые раненые из беженцев и с фронта. Оперировать приходилось три-четыре раза в день. Старуха Ильмъяр повелела принести ей в операционную высокий табурет и оперировала теперь сидя.

Впрочем, городской беспорядок и бестолковщина если в операционную и не попадали, то подбирались к самым ее дверям. Сеяла бестолковщину операционная сестра Маша. Маша была Нининой ровесницей, но имела уже двоих подращенных детей. Старший ее сын Кирильчик ходил в школу, и, стало быть, родила его Маша лет в шестнадцать, не позже. Маша была пухлой, краснощекой и беспрерывно болтала всякие глупости, даже когда мылись и готовились к операции. Но Надежда Викентиевна болтать Маше не запрещала, объясняя это тем, что Маша была идеальной операционной сестрой. Действительно, у стола Маша была собранной и молчаливой, но стоило только Маше выйти за дверь и снять маску...

Чего только не рассказывала Маша. Каких только диких слухов не передавала. Что немцы везут в Ленинград царя и царицу, что царица – немка и уговорила Гитлера привезти ее в Зимний дворец и сразу уйти. Эту историю Надежда Викентиевна слушала, печально улыбаясь.

Еще Маша рассказывала, что батюшка Владимир в Никольском соборе читал, дескать, прихожанам Апокалипсис и там, в Апокалипсисе, будто бы написано про красного петуха и черного петуха и зашифрованы цифры, и если расшифровать, получается, что война закончится на сорок третий день. В августе рассказывать эту историю Маша перестала. Сорок три дня уже никак не получались.

Зато Маша рассказывала, что детей, дескать, отправили в эвакуацию, посадили в поезд, повезли под Лугу и привезли к самым немцам в пасть, на самую передовую. Эта исто-

рия выглядела горячечным бредом, но вскоре оказалась более или менее правдой. В одном из обстрелянных детских эшелонов находились и Машины дети, Кирильчик с Данилкой, а теперь их вернули в Ленинград домой.

Еще Маша рассказывала, будто юродивый Матвейка на Смоленском кладбище говорил, что Христос приходил в Ленинград, стоял на площади Урицкого и плакал, и камень прогорел в нескольких местах там, где упали слезы. А потом Христос взмахнул крыльями и улетел.

– Ну, это уж, миленький, совсем сказки, – говорила Надежда Викентиевна, локтем закрывая кран и подставляя руки, чтобы Маша надела ей перчатки.

– Разве ж я не понимаю? – лукаво улыбалась Маша. – Только, Надежда Викентьевночка, интересно же, что люди говорят.

И рассказывала вдогонку еще про красного командира в длинной шинели. Что у раненых есть поверье, будто к тем, кому предстоит вскоре умереть, ночью приходит красный командир в длинной шинели и помогает что-нибудь: воды поднесет, простыни поправит, а человека, глядишь, назавтра и нету.

– Вот это вредный слух, – нахмурилась профессор. – Его надо пресекать.

– Я понимаю, Надежда Викентьевночка, что вредный, да как же быть, если я сама давеча задержалась после комендантского часа и сама видала, как к Прохорчуку приходил красный командир в длинной шинели и принес кулечек конфет бомбошек.

– И что?

– А то, что боец Прохорчук сегодня помер антоновым огнем, а бомбошки так у него и лежат в головах.

Профессор помрачнела и сказала тихим голосом:

– Гангрена следует говорить, Маша, гангрена. Нечего разводить тут народную медицину. И вообще хватит болтать.

К сентябрю всяческие надежды на то, что Ленинград избежит разрушений и смертей, не оправдались. Враг подошел к городу на расстояние артиллерийского выстрела. Самолеты тоже стали прорываться. И Маша рассказывала, что половину зенитных орудий увезли из города в Пулково, против танков, оттого и легче стало вражеским самолетам бомбить город. А однажды в начале сентября Маша прибежала и зашептала:

– Всё! Моряки уходят!

Надежда Викентиевна пожурила Машу за распускание панических слухов, спокойно додежурила, но после дежурства пошла на Неву посмотреть и позвала с собой Нину. Мосты действительно были разведены, и вверх по реке в сторону Ладоги действительно тянулись военные корабли.

– Красивые черти, – только и сказала профессор, глядя им вслед.

Закрылись коммерческие магазины. Уменьшена была норма хлеба по карточкам. Потом уменьшена была еще раз. С октября Нина получала четыреста граммов хлеба и однажды призналась себе, что постоянно чувствует голод, даже несмотря на то, что в клинической столовой кормили, не вырезая карточек. Зарплату задерживали все чаще, купить на колхозном рынке ничего было нельзя.

Толик часто писал. Каждое свое письмо он заканчивал словами «постарайся хорошо питаться». Летом Нина злилась на неприемлемую для военного времени обыденность этих слов. К середине осени стала думать, что Толик – единственный человек, который ее понимает.

Чтобы не поддаваться панике, записалась в комсомольский отряд противовоздушной обороны. Ходила дежурить на крыши во время бомбежек, но бомбили в основном юго-западную часть города, а Петроградской стороне доставалось мало. С крыши Нина видела 8 сен-

тября в лучах заходящего солнца красивейшее облако бело-багрового дыма. Маша потом говорила, что это горели Бадаевские продовольственные склады – вся запасенная для города еда. А еще распускала слухи, что немцы взяли Шлиссельбург и Мгу, что город окружен и настанет голод. Ни на чем не основанные слухи. В райкоме комсомола про Мгу Нине подтвердили, про Шлиссельбург опровергли. Слухи про окружение города назвали паникерством, но раздали комсомольцам револьверы, а комсомолкам – финские ножи. Стрелять Нина умела, но как сражаться ножом – не имела понятия.

В годовщину революции товарищ Хозин по радио впервые произнес слова «охватили город кольцом блокады». А товарищ Сталин сказал, что нужно «потерпеть годик». Сколько? Годик?

В институте тоже был митинг. Проректор кричал истерически и размахивал руками:

– Каждый должен быть готов защищать город с оружием в руках! Изобретайте себе оружие – ружья, палки, ножи!..

– Я со скальпелем пойду на врага, миленький, – прокатилось над головами насмешливое контральто старухи Ильмьяр.

Нина подумала, что вот у нее есть финский нож, но он совершенно бесполезный.

Изо всех окон летел пепел. Сначала в райкомах партии и комсомола, а потом и во всех других учреждениях жгли документы. Невесомые останки бумаг кружились над городом, как черный снег.

Раненых с каждым днем было все больше: военных с фронта и штатских – от обстрелов. А в городе с каждым днем все больше становилось беженцев из пригородов и южных районов Ленинграда. Их было жаль, конечно, но они несли с собой дух разложения и беспорядка. Сидели на тротуарах, ночевали в парадных, просили милостыню, распускали нелепейшие слухи. Что немцы, дескать, разбрасывают с самолетов пропуска на оккупированную ими территорию, и кто воспользуется пропуском, пойдет и сдастся, того сразу кормят и решают вопрос с жильем. Только вот, говорили, милиция эти пропуска собирает и прячет. Еще говорили, что Сталин приказал Ленинград взорвать, что только Ворошилов уговорил не взрывать пока, но город заминирован, для того и роют на улицах. А раненые бойцы бесперечь твердили про красного командира в длинной шинели, который будто бы являлся каждому умирающему, как Летучий Голландец в книжках про морские приключения являлся погибающим кораблям.

На все эти слухи и рассказы Нина жаловалась Надежде Викентиевне, просила пресечь и запретить безответственную болтовню хотя бы Маше. Но профессор говорила:

– Ничего, миленький. Народ дремучий, конечно, но, попомните мое слово, эта дремучесть для немцев окажется едва ли не страшней, чем танки.

Нина не могла согласиться. Она была уверена, что распускать ложные и панические слухи нельзя. Более того, следовало бы просвещать народ, разъяснять сущность империалистической войны, растолковывать, что фашистское правительство Германии долго не продержится, что германский пролетариат воевать со страной победившего пролетариата не намерен, что вот, например, на территории больницы Эрисмана упала бомба, но не разорвалась, потому что заполнена была песком, а не взрывчаткой, и в этом песке саперы нашли записку «Чем можем, тем поможем» – от германских рабочих, саботировавших свое военное производство.

– Это вы откуда знаете про записку? – спросила профессор Ильмьяр.

– Своими глазами видела. Помните, я же ходила в Эрисмана. Мне показывали бомбу. Лежит посреди двора.

– А на каком языке записка? На русском?

– На немецком, конечно. – Нина припомнила эту записку во всех подробностях, даже воспроизвела немецкий текст: – Was mochte das hilfe.



– Вот как? – Надежда Викентиевна засмеялась. – В таком случае, миленький, записку писали и бомбу начиняли песком советские студенты. На испытаниях по немецкому вам за такую записку, может быть, и поставили бы зачет. Но немец так не напишет. Напишет «Wir helfen so gut wir können» или что-нибудь в этом роде. Даже рабочий. Так что записочку вы придумали. Точно как Маша придумывает про красного командира, а блаженный Матвейка на кладбище – про крылатого Христа.

Нина покраснела. Мгновенье назад ей действительно казалось, что она своими глазами видела записку, тогда как на самом деле видела только бомбу, и нельзя было определить по бомбе, взрывчатка в ней или песок. Нина была честной девушкой.

– Как это? – спросила она. – Я же не хотела врать. Я же сама верила, что видела эту записку. Простите.

– Ничего, миленький. – Очень ласковым жестом профессор погладила Нину по щеке. – Я верю, что вы верили. Вот и они так верят в своего Христа с крыльями и командира в длинной шинели. Я и сама верила в то, что немцы – культурная нация, и всем говорила это, пока нас не стали бомбить.

Под бомбежку, вернее под артиллерийский обстрел, Нина попала впервые в начале ноября. Был выходной день, их комсомольский отряд противовоздушной обороны дежурил на Кронверкском проспекте. Выходя из дома, Нина положила в карман серебряные часы, оставленные Толиком. Украдкой, как бы стыдясь саму себя. Она как будто сама от себя скрывала, что постоянно была голодна. Выкупить продукты по карточкам было трудно. В булочных не каждый день бывал хлеб, а когда бывал, приходилось стоять за ним в очередях. По несколько часов. У Нины не было времени на очереди, а в клинической столовой кормили плохо, вырезали мясные карточки за котлетки из перемолотой жилы и хлеб давали не всегда. Магазиновые очереди были молчаливыми и мрачными, в столовых все со всеми беспрестанно ругались. Всегда хотелось есть. Думалось только о еде. То и дело Нина ловила себя на изобретении самых фантастических фантазий про то, откуда у нее появится вдруг хлеб. Вот она пойдет по улице, а какой-то встречный военный подарит вдруг целую буханку. Или привезут раненого генерала, и он подарит хлеб после успешной операции... Теперь в районе их дежурства был Сытный рынок, а на Сытном рынке часы можно было обменять на хлеб. Как это сделать, Нина не представляла себе. В присутствии товарищей, конечно, не стала бы торговаться. Все дежурство не стала бы ходить с хлебом за пазухой. Но как-то вот она фантазировала, что пойдет на дежурство, а вернется с хлебом. И положила часы в карман.

День был серый. Все было серое – мостовая, дома, голые деревья в парке. Только трамвай по Кронверкскому проспекту бежал красный.

Комсомольцы прошли мимо Сытного рынка, прямо сквозь толкучку. Купить или намять еды никто из них, кроме Нины, не мог, но, не сговариваясь, шли хотя бы посмотреть на еду. Еда была серая – хлеб, жмыхи, даже масло они видели в серой оберточной бумаге. И полами серых пальто укрывали еду серолицые люди.

Вдруг эта серая картинка словно бы разорвалась, а в ее изнанке полыхнул рыжий, красный и золотой цвет. И словно бы кто-то сильный ударил Нину ладонями по ушам и одновременно толкнул в грудь. Нина упала, скорчилась и зажмурилась. Сколько-то времени прошло, прежде чем она сообразила, что это рядом с нею разорвался снаряд. Подумала, ранена ли, но не могла определить. Открыла глаза, люди вокруг бежали, и рты у них были открыты так, как будто они кричали. Но Нина не слышала криков. А еще через несколько мгновений поняла, что и сама кричит. И только потом услышала свой крик. А там и все остальные крики. Люди кричали на бегу. Нина видела женщину, которая тащила за руки двоих детей лет пяти-шести. Видела старуху, которая залезла в трамвай и костылем махала вагоновожа-

той, чтобы скорее ехать. Почему-то некоторых людей Нина видела отчетливо, а некоторых – только как мелькающие тени.

И тут опять кто-то сильный словно бы отвесил Нине по ушам сразу две затрещины. И опять полыхнуло. На этот раз глаза у Нины не зажмурились, а, наоборот, распахнулись. И она видела, куда попал снаряд. Он попал в трамвай. И эта старуха с костылем на подножке мгновенно скорячилась, как корячится бумага в огне. Трамвай разлетелся в щепки, и эти щепки разложились вверх горящим снопом. А железные части трамвая вывернуло и выгнуло вверх, так что трамвай стал похож на дерево. Это железное дерево снялось с трамвайных путей и, ломая ограду, перепрыгнуло в парк, где ему и место, к другим деревьям.

А женщина, которая тащила детей за руки по Сытной площади, теперь лежала у стены и накрывала детей своим телом. Она подгребала детей под себя руками, как будто плыла. Только у нее не было ног. Оторвало по шиколотки. Нина пыталась найти взглядом разбросанные по площади ботинки этой женщины и думала, что ноги остались там, в ботинках. А кровь, которую намакали у этой женщины рейтузы, была серой. Или Нина больше не различала цветов.

Были еще разрывы. Только они уже не пугали Нину, как те два первых. Нина лежала тихо на тротуаре, смотрела на женщину, и думала, что женщина ранена, а ведь для того и создавался комсомольский отряд ПВО, чтобы помогать раненым. Только Нина все равно не могла встать. Какие-то люди бежали по площади, как тени. А Нина лежала и смотрела.

И она видела, как к этой женщине подбежал, пригибаясь, красный командир в длинной шинели, опустился на колени, распахнул шинель. И, видимо, разорвал что-то у себя под шинелью. Гимнастерку? Португею? Нина не видела, командир был к ней почти спиной. Нина видела только, как этот командир наложил раненой женщине на ноги два жгута. А потом поднялся и, все так же пригибаясь, побежал в сторону Сытнинской улицы. На детей он даже и не взглянул.

Когда обстрел закончился или наступила какая-то пауза в обстреле, Нина встала, пересекла площадь и подошла к этой женщине, которая накрывала собой детей. Женщина была мертва. Дети были живы. Даже не ранены. Контужены и напуганы. Они пытались кричать, но только беззвучно раскрывали рты. Нина достала из сумки шприц и ампулу. И уколола детям прямо через одежду. Мальчику и девочке. Она не понимала, какое лекарство колет, что там в этой ампуле. И кто эти люди, которые взяли детей на руки, Нина тоже не понимала. И куда понесли? Нина поднялась, попыталась идти за ними. Но отстала и потеряла их, не знала, в какую улицу они свернули, Ленина или Кронверкскую. Тогда Нина подумала, что надо вернуться на площадь к той мертвой женщине. Вернулась, но женщины там уже не было. Нина подумала, что тело, наверное, унесли комсомольцы из их отряда противовоздушной обороны. И решила найти ботинки. Нашла один, подняла. Он был полон крови и грязи. Нину вырвало, и она упала, потеряв сознание.

– Что вы, миленький? – Надежда Викентиевна взяла Нину под руку. – Ранены?

Нина огляделась. Некоторое время не понимала, где она, а понимала только, что ее трясет от холодного ветра. Потом догадалась, что идет по улице Рентгена. Как она добралась сюда от Сытной площади, Нина не помнила. Откуда взялась рядом профессор Ильмъяр, не знала.

Они пошли молча. До клиники было совсем недалеко, но профессор не повела Нину в клинику, а повела на Большой проспект. В тот маленький его отрезок, что между площадью Льва Толстого и речкой Карповкой. Эту часть проспекта профессор называла аппендикс.

Аппендикс был перерыт противотанковыми траншеями. Эркер углового дома наскоро был укреплен кирпичом и вертикально поставленными, втиснутыми в цемент трамвайными рельсами. Там была оборудована долговременная огневая точка на случай уличных боев,

про огневую точку эту даже Нина понимала, что первый танковый выстрел разнесет ее в черепки, как молочную крынку. Во многих окнах не было стекол. Окна были зафанерены, фанера была заклеена плакатами, изображавшими женщину с мертвой девочкой на руках. На этих плакатах был лозунг – «Смерть детоубийцам». Плакаты были мокрые, и ветер их рвал.

Поравнявшись с аркой во втором или третьем доме от площади Льва Толстого, профессор свернула туда. У каменного орла, венчавшего дом напротив, отломана была голова, висела на арматуре, как свернуты бывают набок головы у битой птицы. Нина подумала, что не вспомнит уже, когда последний раз ела курятину.

Они прошли серым двором-колодцем. Однорукий дворник, рубивший в углу дрова, поздоровался с Надеждой Викентиевной. Чурбаки у него были навалены кучей, колотые дрова он складывал посреди двора в поленницу, так что получался дровяной лабиринт.

Дверь в парадную была красивой, дубовой, но висела на одной петле и открывалась, скрежеща по камню. Лестница была грязной, но между ступенями вбиты были медные штыри и лежали между ними медные багеты, когда-то прижимавшие ковер. Лифт не работал. Женщины поднимались медленно на седьмой этаж, когда на улице облака вдруг расступились, выглянуло солнце и осветило витражи. Вся лестница снизу доверху забрана была витражами, и взрывы пока не выбили витражей, видно, они были прочнее, чем стекла. Синие, желтые, красные, зеленые пятна раскинулись по стенам и по ступеням, раскрасили даже руку Надежды Викентиевны, опирающуюся о перила, и стало празднично. Как в Рождество. Единственное Рождество, которое Нина помнила, – 1917 года. Ей тогда не было и двух лет. Елка, игрушки, свечи, подарки, конфеты, золотые орешки – все это не сохранилось в детской памяти, а остались только веселые, пляшущие, разноцветные пятна.

– Ну, заходите, миленький, заходите. – Надежда Викентиевна втащила Нину в квартиру. – Долой это все! Раздевайтесь совсем прямо в прихожей. Не смущайтесь, одна живу, в квартире никого нет.

И с этими словами принялась раздевать. Как ребенка. Сняла сумку с медикаментами. Сняла сумку с противогазом. Сняла ремень с притороченным к нему финским ножом. Сняла бушлат, кофту, гимнастерку, боты, юбку, чулки, рубашку...

– Пойдемте, пойдемте, колонка еще теплая...

Нина шла босиком, и по дубовому паркету приятно было идти.

В квартире была ванна. Чистая и с дровяной колонкой. Нина, стесняясь своей наготы, стала в ванну на колени, а Надежда Викентиевна поставила перед нею таз, набирала в ковш теплую воду и поливала Нине на голову. Голове было тепло, спине холодно.

Дважды профессор намылила Нине волосы и дважды смыла. От ее прикосновений Нинина голова зазвенела приятно так, как звенела в детстве, если сидишь в углу и слушаешь разговоры или наблюдаешь за работой взрослых. А когда Нина откинула мытые волосы, когда открыла глаза, ей захотелось вдруг скривить рот и разреваться. Как в детстве. Таким ревом, за который мама жалела ее, а отец отвечивал подзатыльник. Разреваться про все: про то, что она одна, про то, что устала, про то, что хочется есть, что мама в могиле, муж на войне, про то, что холодно, что бомбят, что испачкалась одежда, про черный женский ботинок, полный крови и с человеческой ногой внутри, про трамвай, превратившийся в дерево, про старуху, скоряченную огнем... Мамаааа! Мамочкаааа!

– Ну, ладно, ладно... Держите лучше мыло, миленький. – Надежда Викентиевна сунула Нине в руку дегтярный обмылок, поцеловала Нину в висок и принялась мылить ее суровой мочалкой.

Через четверть часа Нина вышла из ванной чистая и во всем чистом. На ней была холстинковая рубашка, плед, кавалеристские шаровары и теплые гамаши. Нижнего белья,

правда, Надежда Викентиевна не смогла Нине подобрать. Ничто профессорское не подошло бы на Нинину полную грудь и широкие бедра.

Воду не сливали. Водопровод у Надежды Викентиевны каким-то чудом еще работал, но лилось тоненькой струйкой. В оставшейся от мытья воде разумно же было устроить стирку.

– Все дезинфицировать, все! – Надежда Викентиевна подняла с пола бушлат, встряхнула и взмахнула над ним средством дезинфекции, одежной щеткой.

– Осторожней, там часы в кармане, – вспомнила Нина.

Профессор достала часы, открыла крышку, покачала головой и молча положила часы на стул. Собрала Нинины вещи, понесла замачивать.

Потом они кипятили чай. Заваривали. Слабенький, но запах все равно был такой, как будто кто-то зовет издали-издали, из детства. Надежда Викентиевна достала немного хлеба. Даже кусочек солонины, на запах которой пришел в кухню бульдог, ужасно исхудавший, с понурой головой, огромной по сравнению с тощим телом.

– Ой, как же вы его кормите? – спросила Нина.

– Да в основном книгами. У Степана дворника есть то ли кум, то ли сват, то ли такая же тать, как сам Степан, бригадир продуктового обоза. Раз в неделю они списывают лошадь, дескать, пала под обстрелом. Фунт соленой конины он, разбойник, меняет мне на десяток приключенческих книг. Гюго уже забрал, Мопассана, Бальзака, Дюма... Не знаю, зачем ему книги, но романы он уж все у меня перетаскал, принялся за поэзию...

Нина понесла чай в комнату и огляделась. Все стены гостиной, которая одновременно служила и кабинетом, действительно уставлены были книгами, но в книжных шкафах действительно зияли пустоты, вероятно, на месте Бальзака и Дюма. Большинство книг были медицинские, на латыни и на немецком. Но и художественных много, особенно стихов: «Колчан», «Пепел», «Кипарисовый ларец», «Версты», «Четки» – буржуазные издания и даже, насколько Нина понимала, контрреволюционные.

Они пили чай. Нина ела. Профессор спрашивала про обстрел. В основном в медицинских терминах. Так, чтобы и отвечать получалось в основном холодно и по-деловому. Хвалила за камфору, которую Нина догадалась уколоть детям той убитой женщины, хотя лучше было напоить чем-нибудь седативным. И вдруг спросила:

– Откуда у вас эти часы?

– Трофейные, муж принес с Финской. – Нина сначала ответила, а потом только поняла, что атмосфера их чаепития изменилась, стала не то что враждебной, но какой-то печальной.

Надежда Викентиевна встала. Медленно пошла в прихожую, вернулась с часами, раскрыла их, показала Нине. Нина и не знала, что изнутри на крышке выгравированы были два слова «vita brevis». Потом профессор достала из жилетного кармана свои часы, точно такие же с точно такой же гравировкой.

– Хотите еще чаю, миленький? – Тяжело опустилась за стол. – В одна тысяча девятьсот четырнадцатом году, миленький, Евгений Сергеевич Боткин повез меня представляться императрице...

У Нины закружилась голова. Имя Боткин звучало для нее примерно как Гиппократ или Авиценна. 1914 год – это же до революции. Представляться императрице... Какая императрица? Жена Николая Кровавого? Свергнутая и пущенная в расход где-то на Урале? Где на Урале?

– Какая императрица? – прошептала Нина на вдохе.

– Обыкновенная императрица. Александра Федоровна. Она была попечительницей госпиталя для раненых в Царском Селе, искала хороших хирургов. Евгений Сергеевич повез представлять меня, но я опоздала к нему, ненадолго, минуты на три. И все вот это... аудиенция, экзамен... прошло гладко. Но спустя несколько дней Боткин подарил мне часы, мяг-

кий, но безусловный намек на то, что не следует опаздывать. При малейшей непунктуальности, но только любимым ученикам Боткин дарил часы с гравировкой «vita brevis». И я своим ученикам стала дарить. Получилось что-то вроде братства, медицинский орден, нас звали витабревисами. Строго говоря, я бы и вам должна была подарить такие часы, но где же теперь найдешь часы? Впрочем, у вас они есть. Ваш муж...

Тут только до Нины дошло:

– Вы хотите сказать, что мой муж на Финской убил кого-то из ваших учеников?

– Нет, отчего же... Мне даже и в голову не пришло. Хотя... – Профессор помолчала минуту. – Нет, я думала, что ваш муж оперировал кого-то из витабревисов, воевавших на финской стороне, не смог спасти и взял часы на память...

– Оперировал врага?! – захлебнулась Нина.

Профессор Ильмъяр молчала.

– То есть вот фашистский самолет упал в парке Первой пятилетки, вы бы что, стали оперировать летчика?

– Разумеется, миленький. Стала бы оперировать. И вы бы стали. Вы же врач, витабревис.

Профессор поднялась легко, собрала со стола посуду, направилась на кухню, кажется, даже напевая что-то вполголоса.

– Я помогу! – крикнула Нина вслед.

Но пребывание в этом доме стало для Нины тягостным. Нина так и не дождалась, пока высохнет ее одежда. Дождалась воздушной тревоги. Засобиралась в бомбоубежище, куда профессор Ильмъяр даже и не думала спускаться. Пообещала назавтра обязательно отдать одежду... Профессор улыбнулась:

– Бог с вами, миленький.

И Нина с мокрой своей одеждой, увязанной в узелок, вышла вон из этого странного дома, где все еще работает водопровод, все еще жива собака, все еще стоят на полках стихи, изданные до революции и... Боткин! Царица! Оперировать фашистов! Как это все?

С того дня для Нины началось «смертное время». Наутро она проснулась в своей холодной комнате под двумя одеялами и бушлатом, оделась, поплелась на работу и лишь по дороге вспомнила, что не нужно бы ходить туда, где профессор того и гляди заставит оперировать фашиста. Но хлеба не было. Даже для врачей, которые питались наравне с рабочими, норма хлеба была снижена до 250 граммов в день. И не достать было этого хлеба. Люди занимали очередь к булочным затемно, старались даже до истечения комендантского часа. И вот у Нины был выбор – идти ли затемно на работу, где хлеб и чай будут почти сразу, или вставать в очередь, где, может быть, и не достоинься... Пока Нина размышляла обо всем этом, доковыляла уж и до клиники. И так каждое утро – сначала думала про хлеб, а потом уже вспоминала о разногласиях своих с профессором Ильмъяр.

В начале декабря выпал большой снег, никто его не убирал. Люди протапывали себе тропинки среди сугробов, ковыляли по ним, спотыкаясь, падали в снег и не всегда вставали. Бодро ходили по улицам только красноармейцы и краснофлотцы. В длинных шинелях. Раненым в клинике Нина помогала без усталости, потому что так делали все вокруг нее. Но по дороге из клиники в общежитие Нина была одна – редко какому упавшему протягивала руку, чаще проходила мимо. Временами испытывала от этого огрызки угрызений совести: разве «не всегда помогать своим» – это не то же самое, что «иногда помогать врагу»? Но додумать мысль до конца сил не было.

Следовало бы обратиться за поддержкой куда-нибудь – в горком партии, в комитет комсомола, там бы разъяснили про безразличие к своим и помощь врагу. Но трамваи не ходили.

На углу Большой Пушкарской, сдвинутый взрывом с рельсов, один из трамваев так и стоял, украшенный флажками еще к годовщине революции, а люди разбирали его на дрова.

И нельзя было написать письмо. Даже мужу на фронт, чтобы спросить, станет ли он, если придется, оперировать фашиста. Света не было. Керосин выдали один раз по два с половиной литра на человека, и больше не выдавали. Светлого времени суток едва хватало, чтобы написать истории болезней. И позвонить никому было нельзя. Телефон работал только в клинике, но позвонить по нему можно было только в Горисполком. Отопления тоже не было, в домах не было совсем, в клинике – почти. Обогревались буржуйками. Дрова закончились быстро, топили чем попало. В одной из общежитских комнат из-за буржуйки начался пожар, вялый и медленный, как все в Ленинграде в ту зиму. Комната горела несколько дней, и никто ее не тушил, потому что не было воды. Водопровод не работал. Прежде чем войти в клинику, каждый сотрудник ее, будь то санитарка, медсестра или врач, должны были набрать ведро воды в Карповке. Нина обычно набирала два раза по полведра и, принеся эту воду, чувствовала себя совершенно уже уставшей.

В столовой кормили плохо. Без карточек не давали уже ничего, а по карточкам давали продукты, которые прежде считались бы несъедобными: котлетки из жмыха, пустые щи из мерзлой капусты. Иногда медицинские работники из-за еды дрались, бесполезно били друг друга невесомыми тощими руками.

Иногда удавалось украсть ампулу глюкозы и выпить. Или ввести себе в вену, содрогаясь от того, как растекалась глюкоза по телу горячей волной, и пусть одно мгновение, но не зябнуть. Прежде Нина и вообразить себе не могла, что станет воровать лекарства. Воровать у больных лекарства.

Работы не убавлялось. Раненые, которых везли после каждого обстрела, были теперь еще и дистрофичные. При полостных операциях Нина видела, как, оказывается, от голода атрофируются у людей внутренние органы. В институте этому не учили.

Медсестра Маша больше не рассказывала веселых баек и нелепых слухов. Как правило, молчала. Или огрызалась, когда Надежда Викентиевна пыталась увещевать ее, что следует кормить обоих сыновей одинаково. Маша теперь твердо знала, что из двоих ее сыновей выживет только один. Однажды Маша вела старшего в школу, младшего – в детский очаг, и где-то на улице проходивший мимо красный командир в длинной шинели протянул вдруг конфету старшему, Кирильчику. Маша решила, что это дурная примета и что Кирильчик – не жилец. С тех пор хлебный паек она делила поровну, но все, что удавалось добыть свыше пайка, все крохи, которые получалось принести домой из больничной столовой, отдавала младшему, Данилке. Кирильчик сначала плакал и просил есть, потом пытался бежать из дома, но вернулся, а в начале января умер тихой голодной смертью – во сне.

Однажды, когда размывались к операции, вполголоса, поджимая губы и глядя в пол, Маша рассказала, как запеленала Кирильчика в простыню, положила на санки и повезла в морг, устроенный на Кронверкском проспекте, там, где до войны была летняя терраса и играл оркестр. Маша говорила, что тела там укладывают штабелями, а несколько раз в день приезжает грузовик и увозит пеленашки на кладбище. Еще Маша сказала, что факт смерти своего старшего сына хранит пока в тайне, чтобы не отобрали карточки, потому что по детским карточкам продают маисовую муку и сахар.

Нина до конца дежурства молчала, а выйдя после работы на улицу с Надеждой Викентиевной, сказала:

– Она убила ребенка. – Самой Нине обвинение это показалось неубедительным, и она добавила: – И мошенничает с продуктами.

Старуха остановилась. С некоторых пор она ходила с палкой и вот теперь встала, опираясь на палку, и окинула Нину взглядом с ног до головы, как тогда, 22 июня по дороге на ста-

дион. Нина вдруг вспомнила: осуждающие взгляды встречных, веселая собака на поводке, выходное платье – не то что теперь, мужской бушлат, увязанный двумя платками.

– Как же вы, молодые люди, – профессор покачала головой, – всегда готовы всех на свете судить. Просто у вас никто не умер, и ни от кого не осталось карточек. Что теперь делать? Товарищеский суд устройте? Так ведь ни у кого нет сил сидеть на собрании, и света нет в конференц-зале. Пойдете на Литейный? Донесете на нее? Пусть арестуют за то, что убила Кирильчика? Но ведь не дойдете.

Старуха повернулась и засемила прочь неверными шажками. Через минуту споткнулась и упала коленями в сугроб. Пыталась встать, опираясь на палку, но не могла. А Нина подумала, что и правда никому теперь не хватило бы сил доковылять до Большого дома на Литейном, чтобы донести на Машу. Через мгновение опомнилась, подбежала к старухе, взяла под руку, помогла подняться.

– Спасибо, миленький. – Надежда Викентиевна улыбнулась. – Знаете-ка что? После-завтра Рождество. Приходите ко мне в гости. Маша достала спирта. Ради праздника будем есть собаку.

Следующие двое суток прошли для Нины в ожидании, в предвкушении собаки. Мысль о том, что собаку нельзя есть, даже и не пришла Нине в голову. Наоборот, два дня Нина только и думала о том, сколько и каких блюд можно приготовить из пса, и догадается ли Надежда Викентиевна использовать в пищу не только собачье мясо, но и собачью кожу. В назначенный час Нина собрала кое-какие гостинцы, имевшиеся у нее, – полплитки жмыха и половину хлебной пайки – да и пошла на рождественский ужин.

В доме профессора Ильмьяр в аппендиксе Большого проспекта Нина не была всего-то два месяца, но пейзаж за это время значительно изменился. Двор-колодец был пуст, дровяные запасы сожгли. Дубовая дверь парадной не висела больше на одной петле, а была сорвана и, вероятно, разбита на топливо. Лестница была не просто грязна, но покрыта застывшими нечистотами. Нина с трудом карабкалась по скользким ступеням, цепляясь за перила.

Квартира тоже изменилась значительно. Из книг остались только медицинские, но и ими, кажется, топили теперь печку. Вместо пианино в кабинете стояла буржуйка с трубой, выведенной в мансардное окно.

– Сожгли, что ли? – спросила Нина, кивнув туда, где раньше стоял инструмент.

– Обменяла на хлеб, миленький. С праздником, – и с этими словами Надежда Викентиевна поцеловала Нину в щеку.

А Маша, возившаяся у печки с большой кастрюлей, обернулась и сказала:

– Есть же у людей столько хлеба, чтобы на пианино менять!

В углу на диване тихо сидел маленький Данилка и разглядывал анатомический атлас. В дрожащем свете керосиновой лампы (Бог знает, какие сокровища отдала Надежда Викентиевна, чтобы лампу на этот вечер заправить) Данилка и сам был похож на изображенные в атласе скелеты, только скелеты были веселые, а Данилка задумчивый.

Они накрыли на стол. Положили мятую, но все же белую скатерть. Поставили красивые кузнецовские тарелки. Три ложки были оловянные, а одна серебряная – ее отдали Данилке. Нинин жмых положили в суп вместо картошки. Нинин хлеб положили в хлебную корзинку вместе с хлебом остальных сотрапезников, и казалось, будто хлеба в корзинке много, будто каждый может брать его сколько угодно. Принесли в графинчике охлажденный и разведенный спирт граммов двести – и наконец расселись.

Маша сняла с печки кастрюлю с супом, поставила на стол, подняла крышку, и волшебный запах мясного бульона ударил им в ноздри.

– Жалко только, что лука нет, – сказала Маша. – Я люблю суп с поджаркой, лук, морковь, мука, обжаришь на постном масле, мmmm...

Супа съели по две тарелки. И было еще второе. Насчет приготовления собаки Нина напрасно волновалась. Собака была идеально препарирована. Из кожи, как оказалось, наварен был удивительный прозрачный студень. А кости в супе были не расколоты, но распилены аккуратно, кажется, ампутационной пилой. Самую мозговую кость Маша зацепила половником и положила хозяйке.

– Данилке, Данилке. – Надежда Викентиевна взяла из своей тарелки кость и ловко, одним движением выстучала костный мозг в тарелку мальчику.

– Что это? – спросил мальчик.

– Костный мозг, ешь, вкусно.

– Мозг? – Данилка тихо улыбнулся. – Разве кости думают?

– Ну. – Надежда Викентиевна тоже улыбнулась. – Был такой доктор Максимов, и он открыл, что этот костный мозг может превратиться во все, что угодно: в кровь, в кожу, в мышцы... Вот ты, к примеру, поранишься, а костный мозг придет, подумает и залечит. Что у тебя поранено, тем он и станет.

– Как же он из костей выберется? – спросил Данилка недоверчиво. – Кости же сплошные.

– По кровеносным сосудам, – отвечала Надежда Викентиевна, которой, кажется, нравился этот урок анатомии для самых маленьких. – Смотри.

Поднесла кость к огню. На спице собачьей кости показала мальчику крохотные дырочки и объяснила, что кости живые, что в них течет кровь, а дырочки эти – кровеносные сосуды.

– Поэтому кости и срастаются при переломах. Кровь по сосудам внутри костей несет вот эти умные частички костного мозга, которые и починяют все разрушенное. Понимаешь?

Данилка задумался. На худеньком его лице работа мысли была наглядна. И он спросил:

– А в домах кровь течет?

– В каких домах?

– В поломанных.

Нина представила себе разрушенный город как живое существо. И людей – как стволовые клетки, открытые доктором Максимовым, автором их институтского учебника гистологии. Представила себе, что вот люди копошатся внутри руин и превращаются во все, что угодно: в дома, в мосты, в памятники, в трамваи – заживляют, достраивают собою раненый организм города, и он опять живет. Наверное, она была пьяной от той единственной рюмки разведенного спирта, которую выпила. Мысли путались у нее и были необычными. Она спросила:

– Надежда Викентиевна, а жив еще Максимов?

– Умер. – Профессор покачала головой. – Саша умер в Чикаго.

– Эмигрант? – Нина подумала, что какой вопрос ни задай Надежде Викентиевне, обязательно получается антисоветчина, но теперь это не пугало Нину, а смешило. – Вы знали его?

– Знала. Саша не хотел уезжать, даже несмотря на то, что лаборатория была разрушена и работа остановилась. Не хотел уезжать. – Профессор помолчала. – Но однажды пролетарии какие-то поймали его по дороге в университет, дали метлу в руки и под дулами винтовок заставили мести улицу. – Опять помолчала. – В ту же ночь он бежал с женой и сестрой. На буере по льду Финского залива.

Надежда Викентиевна поднялась, из опустевшего книжного шкафа взяла фотографический альбом, раскрыла на карточке офицера с лихо подкрученными усами. Нина подумала: «Белый офицер». Маша сказала:



– Красавец какой, с усами. – И будто бы ему задала вопрос: – Вот нам бы тоже уехать по льду, а?

Данилка спал на стуле, так и не увидел красавца офицера с микроскопом в руках. А Надежда Викентиевна вдруг сказала, задумчиво глядя в окно:

– Знаете что? Я ведь давно не выводила гулять Джека. Но в последний раз, когда мы были с ним на улице, какой-то командир в длинной шинели поравнялся с нами, нагнулся и потрепал пса по голове. И Джек даже не огрызнулся.

Они засиделись позже комендантского часа. Остались у Надежды Викентиевны ночевать, да так с тех пор и жили у нее все вчетвером в одной комнате, поскольку не было дров хоть немного отопить две.

Через день, когда доели собаку, Нина стала испытывать голод, какой-то уж совсем лютый и безнадежный. Особенно после тех двух дней в конце января, когда нигде в городе не было никакого хлеба вовсе. После этих двух дней совсем без пищи в Нинином организме как будто надломилось что-то, она стала стремительно худеть, испытывать сердечные приступы и каждое утро в клинике начинала с укола камфоры.

А Маша только и говорила про то, чтобы уехать по льду. Надежда Викентиевна поддерживала эти ее настроения и даже договорилась в клинике, чтобы лучшую операционную сестру отпустили в эвакуацию с Данилкой. Беда была только в том, что для эвакуации требовалась справка об отсутствии задолженностей по квартплате. А дом, где Маша была прописана, разбомбили: целое дело было теперь доказать, что Маша исправно платила за отключенное электричество, неисправный водопровод и отсутствующее тепло. Ходить по далеким делам одной было опасно, того и гляди упадешь и не встанешь. Ходили вдвоем. Нина помогала Маше добывать справки и оформляться в эвакуацию. Надежде Викентиевне ходить с каждым днем было все труднее. Данилка впал в спячку, если бы Надежда Викентиевна не заставляла его вставать и учиться шахматам, мальчик так никогда и не вылезал бы из-под горы одеял, наваленной для него на диване.

Объективно жизнь становилась лучше. В январе увеличили норму хлеба, в феврале увеличили еще, по своей карточке Нина получала теперь 500 граммов в день, но никогда не могла наесться, продолжала худеть и к весне весила 45 килограммов, чуть больше половины своего прежнего веса.

В середине апреля вновь пустили по городу трамвай. Первые вагоны ехали и трезвоили на радостях, а люди аплодировали вагоновожатым. Но даже на трамвае добраться от Большого проспекта до Финляндского вокзала по Машиним эвакуационным делам Нине было так трудно, что заходило сердце.

Наконец настал день отъезда. Присели на дорогу. Надежда Викентиевна, так ратовавшая за Машину эвакуацию, теперь прощалась совсем равнодушно. Маша взяла узел с вещами, Нина взяла на руки Данилку.

До Финляндского вокзала тащились долго. Мерзли. Весна и не думала наступать в тот год. На площади перед вокзалом было полно народу, и пробиваться сквозь толпу на перрон пришлось битый час. Вагон был полон. Вагонная площадка была высокая. Маша с трудом закинула туда узел и с трудом вскарабкалась сама. Обернулась, протянула руки, чтобы взять Данилку:

– Даже не поцеловались с тобой, доктор. Ну, ладно. Давай.

А Нина не могла поднять мальчика. Держала на руках, но поднять и передать Маше в вагон не хватало сил. Понатужилась раз, другой – не смогла. Даже попыталась подпрыгнуть, но не смогла и этого.

Как вдруг Данилка взмыл из ее рук, взлетел. Нина оглянулась и увидела, что через ее голову взял мальчика и передает Маше в вагон – красный командир в длинной шинели.

– Не-е-е-т! – закричала Маша и убрала руки за спину. – Не-е-е-т, сыночка!  
– Ты не ори, гражданка, – сказал военный. – Держи мальчика.

Маша схватила Данилку, принялась обнимать, целовать и орать диким бабьим ором: «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!»

А Нина развернулась молча и, не простившись, пошла прочь.

Дальше у Нины не осталось никакого дела, ради которого следовало бы вставать, и Нина слегла. Надежда Викентиевна кормила ее, умывала, расхаживала по комнате, грохоча палкой, и читала лекции про то, что нельзя позволять себе слабость. Но Нина не пыталась встать и вскоре перестала разбирать слова.

Весна все не наступала. Было холодно как зимой. Надежда Викентиевна сожгла почти всю мебель и почти все книги. А весна все не наступала. Только в середине мая Надежда Викентиевна принесла откуда-то первую крапиву, сварила для Нины зеленых щей и скормила из ложечки. Но Нина не почувствовала вкуса. А по ночам все равно был мороз.

Нина проваливалась в сон, и ей снилась еда. Каша. Пшенно-рисовая каша, как варила в детстве бабушка, с сушеными жерделами, изюмом и черносливом. Блины. Тонкие масляные блины с соленым рыбцом и цимлянским лещом, как любил отец. Кисель. Густой, такой, что стояла ложка, кисель со сливками, как любила сама Нина в детстве.

Лишь иногда Нина выныривала из своих прекрасных снов, открывала глаза и видела разрушенную квартиру и тощую, как скелет, старуху в обвисшей одежде. Старуха склонялась над Ниной и кормила ее хлебом или пустыми щами, но сытости от них не наступало ни на мгновение, и Нина опять проваливалась в свои сдобные, съедобные сны.

Однажды Нина открыла глаза, была ночь, светила керосиновая лампа, ярко и весело горели дрова в буржуйке, а перед буржуйкой на корточках сидел и шуровал кочергой в огне – красный командир в длинной шинели.

Он закрыл печную дверцу, встал, взял банку тушенки, которая грелась на печной конфорке, подошел к Нине, зачерпнул десертной ложечкой теплого мяса из банки и дал Нине. Мясо было сладким. Нина потянулась съесть мяса еще, но командир в длинной шинели унес банку и снова поставил на печь.

Налил в стакан чая. Положил кусков пять сахара, старательно размешал. Опять склонился над Ниной и стал поить ее с ложечки сладким чаем. Потом опять взял тушенку с конфорки и дал Нине мяса еще ложечку.

Нина пыталась рассмотреть его лицо. Но не могла. Не различала черт. Он, кажется, говорил что-то, но Нина не могла разобрать слов.

Командир в длинной шинели снова присел к печке, открыл дверцу, подбросил еще дров. Потом снял шинель. Снял гимнастерку через голову. Разделся до кальсон и нижней рубахи. Подошел и лег к Нине под одеяло. Обнял ее. Прижал к себе. Поцеловал в голову. И сказал:

– Спи.

## Андрей Геласимов Идрицкая сила

К девичьей землянке Митя Михайлов подкатил королем. Он знал, что накануне из батальона связи прислали новенькую девчушку. По словам его закадычного друга Петра, который мельком видел ее утром в штабе, новая боевая подруга была очень славная. На похвалы, как и вообще на слова, Петр щедрым бывал редко, поэтому, оседлав полковничий мотоцикл, Митька первым делом помчался именно сюда.

По дороге он сделал крюк и заехал в расположение медико-санитарного батальона, чтобы и там покрасоваться перед кем надо, но здесь про него давным-давно всё уже было известно, и несолоно хлебавши он проследовал далее. Сестрички из хозяйства старшего лейтенанта Кучерова лишь посмеялись ему вслед, а темноглазая и злопамятная башкирка Раиса даже метнула в спину комком сухой грязи.

Нисколько не унывая, Митя поехал к связисткам. Он так сильно рассчитывал на эффект, который должен произвести сверкавший под ним трофейный мотоцикл командира полка, что про легкую неувязочку в медсанбате забыл почти моментально. Июльский ветер упруго бил ему в грудь, под колеса мягко стелилась укатанная фрицами проселочная дорога, тут и там мелькали аккуратные, как пряники, латышские хутора. Митя покачивался на пружинах широкого сиденья и, разинув от счастья рот, сверкал в ответ солнцу крепкими стальными зубами, вставленными вместо тех, что выбил ему когда-то рукояткой своего нагана один забайкальский милиционер.

Мотоцикл на целый час ему доверил сам полковник Бочаров. В родной 1#й стрелковой роте давно уже знали про Митькины технические таланты, но теперь их оценили и в штабе полка. После вчерашней артподготовки, когда немцы неожиданно огрызнулись на недельное уже продвижение дивизии минометным огнем, трофейный механизм сильно посекло осколками, и Митя был призван пред ясные очи командования.

– Сможешь? – спросил его Бочаров, с печалью глядя на своего покореженного любимца, лежавшего на боку рядом со штабным блиндажом.

– Так точно, товарищ полковник! До самого Берлина дойдет, даже не сомневайтесь!

– Ух ты, какой бойкий. – Бочаров перевел на него взгляд и усмехнулся: – А мне доложили: ты из штрафников.

– Так точно!

– Мало оттуда кто бойким приходит... – Полковник вздохнул. – За что сняли судимость?

– Командующему армией самолет починил.

– Балабол.

– Никак нет! Товарищ генерал-лейтенант лично руку потом жал. Приказал немедленно из штрафной роты перевести в 1#ю стрелковую. «Без тебя, – говорит, – Михайлов, не летал бы я в синем небе». Честное слово. Я после этого руку две недели не мыл.

Бочаров улыбнулся и покачал головой:

– Ну, ладно, не хочешь говорить – твое дело. Ты, главное, мотоцикл мне почини.

Когда Митька не без гордости доложил о том, что транспортное средство опять на ходу, довольный донельзя командир полка спросил, чего он хочет.

– Прокатиться бы.

Митька даже дыхание в тот момент затаил от собственной наглости, но Бочаров кивнул:

– Хорошо, сделай тут у штаба кружок.

– Мне бы чуток подальше, товарищ полковник.

Командир насупился, Митька подумал, что надо было соглашаться на кружок, однако в следующее мгновение вбежал ординарец. Он сообщил, что на проводе командир дивизии, поэтому Бочаров, устремляясь к связисту, лишь мимоходом махнул Митьке рукой:

– Через час вернешь мотоцикл. Не позже.

– Есть не позже!

Это и было то, что Митька по довоенной, еще лагерной привычке называл «фарт». Слова друга о вновь прибывшей связисточке настолько воодушевили его, что до знакомой землянки он долетел как на крыльях. «Славная» в устах молчуна Пети могло означать только одно – девушка, скорее всего, была похожа на артистку Валентину Серову. Перед началом наступления на Идрицу в часть привозили фильм «Жди меня», и бойцы, сгрудившись вокруг передвижки, то и дело требовали у киномеханика останавливать ленту и прокручивать заново эпизоды, в которых на экране появлялась эта «девушка с характером». Тот момент, когда она выходит к собирающемуся на фронт мужу, а на голове у нее сдвинутая набекрень фуражка военного летчика, был показан четырнадцать раз. Его бы смотрели и дольше, но приехавший с кинопередвижкой чужой старшина пригрозил отменить кино.

\* \* \*

Остановив мотоцикл у девичьей землянки, Митя крутанул ручку газа, а потом залихватски свистнул. На эти звуки выглянула старшая среди полковых связисток и самая некрасивая из них сержант Поликарпова.

– Чего рассветился, Соловей-разбойник?

– Новенькую позови!

– Обойдешься. Уезжай лучше. И не свисти, а то свистелку сломаю. – Поликарпова погрозила кулаком.

– Ну чего, тебе жалко, что ли?

Митька отряхнул с гимнастерки пыль и приосанился на полковничьем мотоцикле. Поликарпова насмешливо оглядела его, сморщила нос, а потом покачала головой:

– Ох, пожалеешь... Но я тебя предупредила.

Через пять секунд после того, как она исчезла за натянутой у входа плащ-палаткой, оттуда показалась новая связистка. С актрисой Валентиной Серовой у нее не было ничего общего. Вместо белокурого ангела из девичьей землянки выглянула натуральная цыганка – темные и даже блестящие волосы, черные брови, черные жгучие глаза. Опешившему слегка Мите на мгновение показалось, что поверх гимнастерки у нее сверкнуло цыганское монисто, однако, оторвав не без усилия взгляд от ее красивого смуглого лица, он разобрал, что это всего лишь нагрудный знак «Отличный связист».

С интересом и чуть насмешливо она смотрела Митьке прямо в глаза, словно бы говорила: «Позолоти ручку, брильянтовый, всю правду тебе выложу», а он только беспомощно глазел на нее в ответ. Впрочем, сюрпризы на этом для него не закончились. Плащ-палатка снова заколыхалась, и за спиной цыганской красавицы показался старший лейтенант Новайдарский. Из-за его плеча выглянула сержант Поликарпова, которая постучала себя кулаком по лбу, намекая на то, что Митька со своим мотоциклом совсем дурак и, в общем-то, сам напросился.

Командир 1#й стрелковой роты Новайдарский в женских землянках до этого замечен особо не был, поэтому Митька Михайлов от удивления теперь уже окончательно разинул рот. Ходок-то известный был он, а вот что старлей делал здесь – было непонятно. Не мог же он так внезапно морально разложиться и пуститься на Митькины райские пажити. Разве что новая связистка приворожила. Даром, что ли, выглядела как будто вчера из табора?

– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!

Митька соскочил с полковничьего мотоцикла и вытянулся, отдавая воинское приветствие. Трофейный красавец у него за спиной с глухим шумом упал в траву.

В общении с командиром роты байки про самолет командарма не годились. Это компания мог понимающе над ними подтрунить, потому что сам был человеком веселым и глупость других воспринимал как еще одно радостное проявление жизни. Старший же лейтенант Новайдарский, в отличие от полковника, усматривал во вселенском жизненном процессе одно большое и неопрятное нарушение воинского устава.

Митька, замерший с правой рукой у виска, ждал, что его начнут песочить за самовольное оставление роты, но старший лейтенант смотрел куда-то мимо него. Митька украдкой обернулся, подумав, будто за спиной у него стоит кто-то еще, провинившийся гораздо больше, чем он, однако там никого не было. Только вдали, у небольшой рощицы, мотался по полю на велосипеде местный мальчишка. Пацан орал что-то на своем языке, свистел, но сюда эти звуки латышского счастья почти не долетали.

– Сумел починить технику? – ожил наконец командир роты, кивнув на лежащий в траве мотоцикл.

– Так точно, товарищ старший лейтенант!

– Павел, – сказал тот, шагнув к нему от порога землянки. – Меня зовут Павел.

Митька смотрел на протянутую ему крепкую лейтенантскую ладонь и не понимал, что происходит. Цыганская красавица, на которую он перевел свой недоумевающий взгляд, кивнула ему, словно разрешала пожать руку офицеру, словно она имела право ему разрешить. Митька посмотрел на сержанта Поликарпову и обменялся осторожным рукопожатием со старшим лейтенантом.

Тот хоть и выглядел как всегда – абсолютно трезвым и серьезным, но был непривычно мягок, задумчив и даже приветлив, чего Митька до этого за ним раньше не замечал. Причиной, возможно, все-таки были наркомовские сто граммов, точнее – двести пятьдесят или все триста. Водку в дивизию подвозили по старым спискам, и с каждым днем наступления норма на тех, кто оставался в строю, заметно росла.

Впрочем, от командира роты Митька родного запаха не уловил. Задумчив тот был по другой причине.

– Это я полковнику про тебя рассказал. Но он мне на слово не поверил. Лично хотел убедиться, что ты любой механизм можешь починить... Так что экзамен ты сдал, поздравляю.

Митька настороженно смотрел на офицера:

– Экзамен?

– Ну да. Механик нам нужен хороший. И даже не хороший, а самый лучший. Чтоб настоящее чудо мог сотворить.

\* \* \*

Под настоящим чудом старший лейтенант Новайдарский подразумевал сгоревший танк лейтенанта Зайцева, который за два дня до этого в горячке боя оторвался от наших наступающих порядков и вклинился глубоко в территорию противника. Немцы одинокий советский танк, конечно, подбили, но экипаж в плен решил не сдаваться и огрызнулся пулеметным огнем до тех пор, пока в машине все не сгорело.

Командир 1#й стрелковой считал, что Митька Михайлов мог починить этот танк. Но тот должен был отправиться на задание обязательно добровольцем.

– Танк?! Да вы что?! За линией фронта?!

– Нам и надо за линией, – спокойно отвечал ему командир. – А танк не сложнее трактора. Ходовая часть почти одинаковая. К тому же необязательно, чтобы он пошел. Достаточно сделать из него огневую точку. Пулемет, скорее всего, исправен. Они до последнего по фрицам очередями лупили. Если сумеешь орудие в порядок привести – считай орден у тебя есть.

– Да не хочу я орден!

– Пойми, я бы тебе приказал, и никуда бы ты, родной, у меня не делся. Но принято решение, что пойдут одни добровольцы... Сознательность прояви.

Старлей, не мигая, смотрел Митьке прямо в глаза, но тот понял, что лазейка у него все же осталась.

– А я не согласен. – В голосе у него зазвучали подзабытые лагерные интонации. – Нет у меня на то никакого добровольного моего желания! Несознательный я! Вы под какой монастырь меня подвести решили? Чтобы я сам себя к вышке приговорил?! За что? Нет моего согласия! Один не воюю! Куда взвод – туда я.

– В том-то и дело, – качнул головой командир, – что все остальные уже проявили сознательность.

– Да ладно...

Митька потерял весь апломб, сник и потерянно отвернулся. На старшего лейтенанта смотреть он не мог. Пацан, который до этого гонял у дальней рожи на велосипеде, теперь залез на дерево и швырялся чем-то оттуда в крохотную девчущку в синем платице и белой косынке.

– Это я, значит, пока с мотоциклом корячился, вы их уже обработали... Такой взвод решили сгубить... – выдавил Митька, не разжимая зубов. – Таких ребят положить хотите... Был бы наш лейтенант жив, он бы тебе ответил.

\* \* \*

Командира Митькиного взвода убили в первый же день наступления. Поднимая в атаку бойцов, он поймал осколок, разворотивший ему левый бок, поэтому взвод, который своего лейтенанта сильно любил, до немецких окопов добежал первым. Там кромсали все живое штыками, пока немцы не сообразили, что с ними никто не воюет – их просто казнят. Уяснив это, фрицы выпрыгнули из окопа и дали деру ко второй линии своих траншей. Озверевший взвод побросал им в спину лимонками, а потом сел дожидаться подхода своих. На второй и на третий день наступления история повторилась. Немцев рвали на части, те убегали, а в штабе полка одно за другим строчили представления о наградах. После освобождения города Идрица дивизия к своему номеру 219 получила наименование Идрицкой, а Митькин взвод в роте, да и в полку, стали называть не иначе как «Идрицкая сила».

– И башкир согласился? – глухо спросил Митька, переводя взгляд с детишек у леса на старшего лейтенанта.

– Да, – кивнул тот. – С ним первым разговор был.

Командование после гибели взводного принял старший сержант Асадуллин, и бойцы радовались тому, что в штабе решили пока повременить с назначением нового лейтенанта. Башкира во взводе уважали, а генеральное наступление по всему фронту – не самое лучшее время для притирки к новому офицеру. Четверо их было во взводе до погибшего лейтенанта. Ни один в уважение у солдат не вошел.

– Ты пойми, дело не в танке этом сгоревшем, – продолжал ротный. – Через линию фронта за одной подбитой машиной никто бы вас не послал. «Тридцатьчетверка» только для обороны участка нужна. За броней подольше продержитесь. А главное звено всей операции – вот она.

Старлей кивнул в сторону новой связистки, которая слушала Поликарпову и, не мигая, смотрела при этом через плечо старшей по званию прямо на Митьку. Тот вдруг подумал, что, может, она и не цыганка совсем. Дома у себя, в Забайкалье, он видел таких чернявых в семьях сосланных в Сибирь донских казаков.

– Немцы каждый день отходят на подготовленные позиции, – говорил старший лейтенант. – Аккуратно, гады, отходят, почти без потерь. Никак прищучить мы их не можем. И технику сохраняют, и личный состав. Грамотно, конечно, воюют, но надо их грамоту эту как-то переписать. Сломать надо их систему. Тогда возьмем в котел и перемолотим, как в Сталинграде.

– Ну? – хмыкнул Митька. – А чернявая-то при чем?

– Нужно доставить ее с рацией к сгоревшему танку. Там укрепляетесь, а когда фрицы начнут отводить свою технику, даете координаты огня. Накроем всем гаубичным дивизионом. Дальше – корректировка, чтоб не лупить по площадям. Чем дольше продержитесь, тем больше их накромаем. Основная задача – смять их боевые порядки, не дать им организованно отойти и укрепиться. Надо, чтоб они побежали, нам паника их нужна. Тогда всех тут положим. Всю их дивизию закопаем. Чуешь, боец?

Старший лейтенант, вдохновленный собственными словами, не удержался и ткнул Митьку локтем, как старого приятеля.

– Я-то чую, товарищ командир, да вот помирать неохота... Немец ведь не дурак, поймет что к чему. Смекнет, что корректировщики у него под боком. И хана тогда нашему краснознаменному героическому взводу. И чернявой вашей хана. А девка – молодая, красивая... Жалко.

От этой мысли Митьке стало так горько, он так ясно представил себе, что станет с ее гибким, желанным телом всего через сутки и какая короткая у этого юного тела осталась жизнь, что весь чудесный июльский полдень, посреди которого так славно было сидеть на траве под слепым дождиком и любоваться этой то ли цыганской, то ли казачьей, почти родной красотой, окончательно для него померк.

– Они все равно пойдут, – вздохнул ротный. – С тобой или без тебя – взвод уходит сегодня ночью. Только с тобой у них больше шансов. Намного больше. А если немцы обнаружат не сразу, да ты еще сумеешь орудие починить – шансы значительно возрастают. Утром вся 3#я ударная переходит в наступление. Мы успеем. Пробьемся к вам.

\* \* \*

Сгоревший экипаж вынимали из танка в полном молчании. До этого еще изредка переговаривались на марше, и даже когда ползли по болоту, Митька умудрился негромко позубоскалить насчет пиявок и насчет того, что цыганка в трясине – это, наверное, не к добру, но потом, уже рядом с подбитой «тридцатьчетверкой», никто не произнес ни слова.

Танкисты погибли от взрыва топливного бака, в который, судя по всему, угодил бронебойный снаряд, поэтому обгорели до невозможности. Митька невольно подумал, что, если бы они заехали не так далеко немцам в тыл, им хватило бы солярки из задних баков, и тогда баки в боевом отделении остались бы полными. В одном из них не скопились бы горючие пары, которые сдетонировали в итоге от попадания бронебойного, и кто знает – возможно, лейтенант Зайцев и весь его экипаж были бы сейчас живы.

Забравшись первым в подбитый танк и глядя в свете фонарика на жуткие обгоревшие трупы, скрючившиеся на откидных сиденьях и навсегда вцепившиеся в рычаги, Митька Михайлов подумал обо всем этом, но вслух ничего не сказал. Судьба есть судьба, и если в одном из топливных баков у тебя мало солярки, просто молись, чтобы туда не прилетел бронебойный снаряд.

Пока Митька возился с орудием в пропахшей копотью башне, остальные укрепляли позицию вокруг танка и копали могилы. Танкистов похоронили недалеко от того немца, которого башкир зарезал у танка. Часовой этот, видимо, совершенно не предполагал, что русские придут за своей подбитой машиной, и потому на посту чувствовал себя привольно – развел костерок, сварганил чайку, но попить его не успел. Начальство его было далеко впереди – там, где с обеих сторон то и дело взлетали над линией фронта осветительные ракеты, – и глупый немец был уверен, что здесь его никто не побеспокоит.

Спрыгнув с брони, Митька подошел к выкопанным могилкам, когда в них уже опустились сгоревших танкистов и незадачливого фрица. В неверном свете костра он разглядел, что фашисту было лет сорок или чуть больше.

– Учитель, наверно, был, – сказал младший сержант Кириллин, до войны промышлявший охотой в якутской тайге. – В школе работал, однако.

– Почему? – спросил Митька. – С чего так решил?

– У нас в Амге школа есть, да, понимаешь?

– Ну?

– А в школе директор – Семен Семенович. Злой как медведь...

Якут замолчал и многозначительно поднял правый указательный палец, как будто этим все объяснил. Митька непонимающе смотрел на него.

– Похож очень. – Кириллин ткнул пальцем в сторону мертвого немца. – Как два брата.

– А-а, ну если так, – хмыкнул Митька. – Тогда точно учитель.

Стоявший рядом с ним его лучший друг Петр вздохнул и покачал головой:

– Жалко, если учитель.

Митька цыкнул слюной сквозь железные зубы.

– А про наших ребят теперь и не скажешь – на кого они были похожи. На головешки из печки, разве что. А этот стоял тут, их караулил...

Митька еще раз цыкнул и отошел к догоравшему костру, над которым все еще побулькивал чайник немца.

– Погадай мне, ромала, – присел он на корточки рядом со связисткой, склонившейся над своей рацией у костра. – А то неясно как-то жизнь складывается.

Девушка подняла голову и пристально посмотрела ему в глаза. Затем протянула руку, а Митька с готовностью положил на нее свою раскрытую, перепачканную копотью и смазкой ладонь.

Секунду или две связистка молчала.

– Ну? – первым заговорил Митька. – И какой будет прогноз?

– Ждет тебя, касатик, жизнь долгая и красивая, – сказала она, наконец. – Особенно если пушку до утра починишь. А если не справишься, умрешь смертью лютой, да еще товарищей своих подведешь. Зря они, что ли, снаряды через болото тащили?

Осколочно-фугасные боеприпасы весом почти по семь килограммов бойцы доставили к месту корректировки огня в своих вещмешках. В них же несли и диски для танкового пулемета. В укладках боевого отделения подбитой «тридцатьчетверки» снарядов не оказалось. Экипаж до взрыва успел всё отстрелять.

– Да в порядке орудие, – сказал Митька, отнимая у цыганки руку и выпрямляясь во весь рост. – Ерунда там была. Я уже все исправил.

Девушка тоже встала и снова взяла Митьку за руку. Плюнув ему на ладонь и оттерев сколько возможно было черную копоть, она поводила пальцем по его линиям.

– Не умрешь завтра, – наконец очень серьезно сказала она. – Не бойся. Правду тебе говорю.

– А кто боится? – механически огрызнулся Митька.

Цыганка подняла на него взгляд и кивнула:



– Ты. И я тоже боюсь. Даже дышать трудно.

Митька хотел ей что-то сказать, но к огню, мягко ступая, подошел якут. В руках он держал свою флягу, с которой уже откручивал колпачок.

– Огонь покормить надо. А то Байанай сердитый будет. Охоту испортит.

Кириллин плеснул спиртом из фляжки на увядающий костер, и оттуда жадно полыхнули языки пламени. Митьке на мгновение показалось, что это не огонь, а чья-то пылающая рука.

Довольный якут негромко рассмеялся:

– Теперь хорошо. Байанай добрый... Большого зверя добудем.

Митька обвел взглядом всех десятерых бойцов своего взвода, копошившихся кто у подбитого танка, кто чуть подальше, занятых своими окопчиками, раскладывающих боеприпасы и оружие так, чтобы удобно было в бою, – башкир Асадуллин, узбеки Музафаров и Норбутаев, таджик Абдуджаборов, украинец Федоренко, якут Кириллин, калмыки Мергелов и Джангаров, татарин Кашафутдинов, грузин Ломинадзе – Митька посмотрел на них всех, засмеялся и крикнул:

– Ну что, братья-славяне?! Дадим фрицам жару!

Затем он перевел взгляд на стоявшую рядом с ним девушку и спросил:

– А тебя как зовут-то, красавица?

\* \* \*

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм всем бойцам 3#го взвода 1#й стрелковой роты 375#го стрелкового полка присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

## Ариадна Борисова Иваны да Марья

Сашкиных предков привезли в Якутию силком по царскому приказу «садиться на пашню в еланных местах» триста лет назад из-под самой Москвы. Воевода велел раздать семьям конный и рогатый скот, поселенцы стали возделывать неласковую северную землю, сеять рожь, ячмень, коноплю для масла и пеньки. Сюда же ссылали каторжан, позже добавились старообрядцы и скопцы. Отписной грамоты было не добиться, из тайги не вырваться, редких беглецов неизбежно ловили и отправляли на Нерчинские рудники, где люди, не успевая надорвать жилы, заживо разлагались от свинцового яда. Постепенно образовалась большая русская слобода, хлебная и ямская: до продажи Аляски тут проходил тракт российско-американской компании. Попы крестили наездами «своих» и аборигенов. Язычники принимали православную веру не без корысти – крещеным выделяли земельные наделы. Новообращенные венчались с русскими девушками, и скоро к житнице приросли ветви мешанцев – людей красивых, рослых, с детства знакомых с трудом пахарей, отчего их и прозвали «пашенными». Когда родилась Сашка, ее село разговаривало на стойком пашенном диалекте с вкраплениями якутских слов, старики и по сию пору на нем говорят.

В детстве из палисадника Сашкиного дома выше крыши поднимались, переплетаясь ветками, две березы. Пятна солнца в их тенях усеивали песчаную тропинку к дому ярко, густо, как пролитый мед. О меде в деревне знали не понаслышке: лесник Иван Гурьевич Чичерин, последний скопец, держал пасеку, его пчелы собирали взток с обильных саранковых лугов.

Грустная история была связана у Ивана Гурьевича с пасекой. Диких пчел сумели приручить два брата-скопца, трудяги оборотистые, но ветхие, и больше пасечным делом никто не занимался не то что в слободе, а может, и по всему Северу. Иван же Чичерин еще мальчишкой прикипел к работе с медоносами. Из-за них и остального огородно-полевого наследства, человек уже не юный, дал он себя оскопить. Так говорили сельчане, прекрасно зная, что безрассудный поступок этот Иван Гурьевич совершил в горячах по причине измены синеглазой любви своей Марьи.

Единственная дочь из зажиточной семьи с тремя сыновьями, гордая Марья не одному жениху отказала, а к Ивану Чичерину – неказистому, с лицом, порченным в отроках оспой, по совету отца относилась благосклонно. Сговорились, тут девица возьми и сбеги с другим Иваном, Кондратьевым. Не счесть историй, когда истомленная собственной заносчивостью перестарка чуть ли не из-под венца бросается от серьезного человека в объятия первого же подвернувшегося шалопаю. Ванька Кондратьев был ветреником, но красавец – Марье подстать.

Вдовый отец беглянки погневался и принял Ваньку в дом по справедливости, как четвертого сына, под обещание не ярыжить. Однако жизнь молодых в дружном семействе не заладилась не из-за нарушения Ванькой клятвы, а из-за сочувствия примака новой бедняцкой власти. Зыбкая эта власть, между прочим, заявляла о себе все бойчее, и Марьины братья-середняки скоро тоже перестали упираться.

В экспроприации имущества Ивана Чичерина Ванька Кондратьев принял живейшее участие. Поля-огороды, небольшая коровья ферма отошли крестьянскому товариществу, пасеку милостиво оставили Ивану Гурьевичу. Возле нее, на окраине деревни, он и срубил избенку. А добротный скопческий двор у реки на взгорье, с домом и черной банькой, решено было отдать свежеепеченному начальнику – заведующему общественной фермой Ивану Степановичу Кондратьеву.

Первым делом он на радостях посадил две высокие березы в палисаднике – застолбил будущее счастье. Деревья взялись на диво согласно, и хозяйственником Иван Степанович оказался справным, несмотря на досужие о его ветрености разговоры. На возобновившиеся пьянки Ивана Степановича сельсовет смотрел сквозь пальцы. Все же знали, что Кондратьев в бытность Ванькой не дурак был покутить с промысловых удач, да ведь и охотником считался фартовым. Раздулся, значит, в Иване Степановиче прежний гулена, но заработок нес строго жене, напивался не столь уж часто, негромко и не дома. А Марья... Недолго боролась Марья с дурными наклонностями мужа, родила дитя и по виду смирилась.

Сашка знала, как жестоко мать мучилась ревностью, презирая всех женщин и любую в частности, самое себя не щадя в негласном, но из каждой поры пышущем отвращении. Ревновала отца, а не любила. Кого Марья любила беззаветно, всем сердцем без памяти, так это первенца Ванечку, – точно с лица сына сияло ей солнце. Сашка же появилась ребенком незапланированным, случайно, можно сказать, в год отчаянного всплеска Марьиной женской активности. Мать ходила вторым бременем трудно, ждала снова мальчика, красивое имя подобрала ему – Александр, а разрешилась существом своего немилого пола и в страшном разочаровании не захотела даже подумать о более приемлемом имени для девочки.

Вопреки родительскому недогляду, Сашка росла здоровенькой, шустрой, как пацаненок. Мать ею и не заморачивалась. Но Ванечка! Сын! Святое... Марью восхищало собственное продолжение в мужчине, человеке, противоположном созданиям слабым и порочным по природе. Думы о ненаглядном Ванечке утешали черствеющую в злой обиде душу: Иван Степанович сквозил мимо жены холодным ветром и через четыре дня на пятый не ночевал дома. Да кому о том было ведомо? Кому было ведомо – молчали. В остальном не придерешься – отгрохал новую ферму, вывел хозяйство в передовые, свой дом держал в исправности и сына наставлял к мужицкой работе.

Просыпаясь ночью, Сашка видела, как мать на цыпочках крадется проверить, не скинул ли Ванечка одеяло, не приболел ли, не дай бог, охотясь в мороз на рябчиков; видела, как любитесь она его спящим лицом, отдалив свечу. Девочка пугалась безумных глаз матери, ярче свечей исходящих светом горячечной нежности, в которой, казалось, тонуло все ее тощее, длинной жердью иссохшее тело. Ни разу зыбь этой нежности не коснулась дочери, зябнувшей под коротким заячьим одеяльцем, знавшем еще Ванекино младенчество.

Неистовая материнская любовь не испортила мягкого, дружелюбного характера Сашкиного брата. Ровный со всеми, он и к домашним относился с одинаковой лаской. Весной высаживал в палисаднике сине-белые анютины глазки для Марьи, а для сестренки – красные маки, и, ущипнув за румяную щеку, шутил про маков цвет. Сашка подозревала, что по-настоящему Ванечка был привязан к одному человеку – леснику Ивану Гурьевичу. Ее и в помине не было, когда они подружились.

Чичерин жил бирюк бирюком. В деревне его недолюбливали. Не терпя неряшливости, суровый лесник заставлял начисто прибирать древесный мусор с делян, к самовольным вальщикам и браконьерам был беспощаден. В вольере возле своего домишки Иван Гурьевич выхаживал то подраненного лося, то волчонка, попавшего лапой в капкан. Ребяшня набегамии норвила сунуть хлеба сквозь сетку, кто и шишками в зверей кидал. Потрясая прутом, Чичерин грозил высечь озорников.

Ванечку дома не наказывали – не за что было, он и тут не побоялся: «Не ругайтесь на меня, дядя Ваня, я ж плохого не делаю». Глянув в синие глаза мальчика, Иван Гурьевич дрогнул. Постоял с поникшей головой, размышляя о чем-то, и внезапно смягчился: «Заходи». Потом накинул ему на голову шляпу с сеткой и повел на пасеку. Мальчика заворожили слова, в которых вроде бы ничего особенного не было: «Слышь, царица тоскует? Деток оплакивает. Тесно имям, часть отделиться от семейки хочет». Матушка-пчела действительно издавала жалобные звуки, пчелы пылко роились вокруг.

Ванечка сразу влюбился в кропотливое пчелиное царство. Позже рассказывал сестренке об окруженной почтительной свитой царице, о подданных, готовых отдать ей в голод последнюю каплю меда. Маленькая Сашка слушала, не все понимая, думала – сказки.

Миска с медом перестала быть редкостью на обеденном столе. Отцу дружба сына с лесником не больно-то нравилась, но на первых порах помалкивал. Сам в подростках нанимался в охотку к старым скопцам полоть огород за крынку сладкого солнца.

Никому не признался бы Иван Степанович, что тайно совестит себя за стыдный раж раскулачивания. Было тогда так: покойный тесть шепнул, будто Чичерин собирается завтра передать Советам скопческое добро, и Ванька Кондратьев, пораскинув мозгами, подначил товарищей действовать до рассвета, пока Чичерин спит. Со смехом, с прибаутками выкинули скопца из дома в подштанниках. Весело получилось, а в недобрый час царапнула Ванькино сердце вина и начала точить, и понемногу вся досада, все недовольство собой обернулось против Марьи. Из-за нее хотел унижить Ивана Гурьевича, из-за нее сообразил, как легче завладеть чужим ухоженным двором!..

Поздно спохватился Иван Степанович с запретом сыну шастать на пасеку. Ванечка, вымахнувший выше отца, глядя без страха в лицо, заявил: «Убери, тятя, ремень-то, отберу ведь». Марья осмелилась укорить мужа: «Сам виноват, семья тебе побоку...» Иван Степанович молча стукнул кулаком в стену и ушел в загул на неделю, благо звеньевые досматривали за фермой преданно... А Ванечка, окончив в том году семилетку, пошел к Чичерину в помощники.

Июнь 41#го выпал у Сашки из памяти, но вот ноябрь запомнился фразой, повторяемой на разные лады: «Немец под Москвой». В клубе крутили патефон, и под песню Утесова «Дан приказ ему на запад...» семья проводила на фронт Ивана Степановича. Иван Гурьевич уехал с ним в одном грузовике.

Соседка Катерина, сблизившаяся с Марьей во время войны, рассказывала, что кто-то уведомил военных людей о тайне лесника, всем в деревне известной. Приезжий командир будто бы захохотал и хлопнул Чичерина по плечу: «Повезло тебе, скопец, яйца-то в бою только помеха!»

Присмотр за таежным участком и пасекой остался за юным лесником. Заезжая по работе в городское управление лесничеством, Ванечка рыскал по базам и рынкам, где только мог, и скупал соль и спички. Запаса хватило на целых три года, мать была бережлива. С тех пор сохранилась привычка у Сашки, давно уже Александры Ивановны, заходя в магазин, в первую очередь осматривать полки в поисках соли и спичек, всякий раз с воспоминанием о брате.

Восемнадцатилетнего Ванечку увезли с новым набором поспешно, словно на пожар. Прошел ледоход, Сашка с детворой носилась по берегу, бросая в осколки шуги крошки хлеба, – задабривала речных духов, чтобы год выдался урожайным и кончилась война. Не успела попрощаться с братом и рассердилась на мать, что не позвала. Не застав ее дома, нашла по глухому вою, доносящемуся с задворок. Марья плашмя лежала на сырых бревнах, выловленных накануне багром на реке, и выла надсадно, на одной ноте, как волчица. Сашка вначале отпрянула, такими жуткими почудились ей надломленные над головой матери руки, все ее вытянутое вдоль черных бревен тело и безысходный вой. Лишь когда в груди прекратилась дятлова дробь, осмелилась дернуть Марью за безвольно упавший локоть и некстати заметила в русых волосах белой сталью блеснувшие пряди. В открытых глазах, точно в ледяных лунках, дрожала синяя-синяя вода и, светлея, текла по вискам. Сашка поняла, что мать в беспамятстве, села рядом на мокрую кучу коры и тоже тихонько завывала.

Осенью почтальонка принесла письмо от Ванечки. Отправил он его со станции Мальта Восточно-Сибирской магистрали, где проходил снайперскую подготовку в стрелко-

вом полку. Марья схватила письмо обеими руками, плача и радостно вскрикивая, Сашке даже неловко стало перед чужим человеком за ее поведение. Читая вслух, вздох по складам, мать без стеснения покрывала бумагу поцелуями. В этом послании, почему-то запоздавшем на два месяца, Ванечка писал, что на днях едет на фронт. Наказывал сестренке хорошо учиться и просил заложить специальными подушечками улы.

Сашка опоздала – пчелы куда-то улетели. В классе она единственная не пропускала уроков: из-за небывалой засухи в деревне случился недород, и люди голодали. Сена Марья с Сашкой заготовили чуть, и пришлось отвести бычка Борьку на бойню. Злая, не подступиться, притащила Марья домой пятнадцать килограммов мяса – все, что осталось от Борьки после сдачи обязательных ста килограммов государству. Содрав со шкуры меховой покров с частью мездры, Марья выморозила кожу и порубила на кусочки для супа. Корова Пятнашка перебивалась чем придется, молока стала давать вполовину меньше ранешнего, к тому же почти все оно шло на погашение ежедневного продналога. Сено зимой совсем кончилось, и корову постигла Борькина участь.

Из города потянулись невероятно истощенные люди. Мать прибила к калитке железную щеколду и велела не открывать незнакомым. Однажды Сашка увидела в окно, как по дороге мелкими шажками бредут женщина с маленьким мальчиком, и вынесла им несколько вареных картофелин. Вблизи женщина походила на одетый в лохмотья скелет, мальчик выглядел немногим лучше. Они жадно проглотили картошку тут же за калиткой. Сашка снова не утерпела и отдала им зайца, попавшего в петлю на удачливом Ванечкином месте. Женщина очень благодарила, а мальчик смотрел на мертвого зверька и плакал.

Сашка не сказала Марье о снятом утром зайце и ждала, когда эти двое снова придут, – припрятала для них рябчика. Но они не пришли...

Отдежурив на ферме ночью, Марья перед тем, как завалиться спать, выпивала две кружки горячего чая. Сашка с вечера заваривала этот самый чай из сушеных ягод шиповника, колотой чаги<sup>5</sup> и жженой картофельной кожуры. В настой шли очистки без «глазков», остальные копились для будущей рассады. Из подгнившей картошки пекли драники, из сладковатой подмороженной – оладьи с мучным конопляным семенем, а позеленевшие, застрявшие в углах подполья клубеньки мать выкидывала – такими бульбочками люди травились до смерти.

Сидя у раскрытой дверцы прогоревшей печи, Марья дула на черный кипятилок и слушала политинформацию. Дочь пересказывала читанные в школе сводки Информбюро.

– Не написано, что ли, где бой-то был? – спрашивала мать.

Сашка с болью смотрела на серое материно лицо с сумеречными полыннями глаз:

– Не назвали место.

Марья вздыхала:

– Неужто досюда война дойдет? – И вдруг, светлея лицом, вспархивала к Сашке длинными ресницами: – Может, Ванечку бы тогда хоть на денек домой отпустили...

Письма с фронта приходили на каких-то бланках и обрывках оберточной бумаги. В углах треугольных конвертов стоял сиреневый штамп: «Просмотрено военной цензурой». Раз в месяц малограмотная Марья выводила прилежные каракули карандашом на листах Ванечкиного блокнота и вкладывала в письмо сыну чистый лист для ответа. Тетрадей не хватало, дети учились писать мелким почерком на полях газетных страниц и между заголовками. У каждого имелась своя школьная коптилка – пузырек из-под лекарства со спущенным сквозь жестяной кружок фитилем. Коптилки заправлялись казенным горючим и давали достаточный свет для чтения-писания, но сильно чадили, поэтому все в школе, включая учителей, ходили с черными носами. Сашка торопилась написать письма и выучить часть зада-

<sup>5</sup> Чага – черный березовый гриб-трутовик.

ваемых на дом уроков в классе, экономя, кроме домашнего керосина, время, чтобы помочь матери по хозяйству и выспаться к утреннему ношению воды.

Сашке нравилось ходить к реке в синеве тающих сумерек, особенно если выдавалась ясная морозная погода и можно было видеть, как поблекшая луна спешит ко сну. За ночь прорубь успевала намерзнуть прозрачной пластиной льда. Под сильными ударами пешни разлетались жалящие осколки и отворялся вход в таинственную мерцающую глубь. Розовые и лиловые льдинки отражали Сашкину шаль с красными цветами, шуршали, светились, играли в воде, словно веселые живые леденцы. Легкий ветер рвал кисею тумана с прибрежных деревьев, веял перловой снежной пылью и моросом усеивал лицо. Девочка шагала с полными ведрами, изумляясь стремительной силе рассвета. Небо пробуждалось, тесня темноту к западу, будто кто-то огромный, может, сам Бог, о котором мать запрещала рассказывать в школе, поднимался с солнечной лампадой к вершинам с другой стороны восточных гор. Подмокшие подошвы старых отцовских торбазов грозились намертво прилипнуть к тропе, но Сашка все равно останавливалась, отдыхала и зачарованно смотрела вверх.

В субботние дни она носила воду и вечером – для стирки. Раз в субботу, чувствуя странное томление после речной «прогулки», Сашка подкрутила фитиль лампы повыше и разложила на столе газету. Марья удивленно подняла брови, но, верная внутренним правилам, промолчала. А Сашке было не до разговоров: впервые решила написать письмо отцу не по принуждению и долгу.

Тятя, здравствуй, милый мой,  
приежжай скорей домой.  
На небе звездочки моргают,  
тебе с Ваней привет посылают.  
Прочь гоните фашистов проклятых,  
ждут с победой героев ребята!

Сочинила стих и осталась неудовлетворенной: не смогла выразить переполнявшие душу чувства. Строки гибкие, горячие, точно тальниковые прутья для плетения корзин в кипятке, маялись в Сашке, а на выходе были не те... совсем не те. Внизу она подписалась «Александр», а не «Саша», как обычно.

Почему-то хотелось, чтобы Марья украдкой прочла письмо. Пусть бы отругала за керосиновое расточительство, но прочла. Сашка представила внимательно прищуренные глаза и бледные губы, которыми мать беззвучно шевелила за ее спиной... Напрасно оглянулась. Марья была занята – целовала старое Ванекино письмо.

Едва сугробы поголубели и зазернились с исподу, Сашка стала до зари бегать в тайгу на охоту. С палкой и сеткой караулила токующих глухарей. Токовища находила заранее, Ванечка научил отслеживать по штрихам на снегу, вычерченным крыльями самцов. Птица в такое время неосторожна, расправит иссиня-черный хвост с белыми крапинами, напыжит изумрудный зоб и – а-ах! – как примется щелкать! Трубит, стрекочет, перекатывает в горле шелестящие камешки, на весь лес выводит весеннюю песнь! Жалко было подбивать, а надо – Марья радовалась добыче...

Весной выяснилось, что буренок порезали в большей части дворов. Сильно убавленное колхозное стадо пастухи выводили пастись в тальнике с ружьями, опасаясь набегов одичавших собачьих стай. Фермерские коровы обгрызли шерсть друг у друга выше холка, позвонки их голых хребтин торчали, как обтянутые кожей шарикоподшипники. А жалкое стадо домашних коров оказалось бесхвостым. Хвосты своим кормилицам отрубили и съели хозяева.

В начале лета в деревню приехали на грузовике врачи, следом прибыла водовозка со средством от чесотки и вшей. Медики осмотрели сельчан, каждой семье налили в бидоны вонючее лекарство. Забрали с собой в больницы чахоточников и людей, пораженных язвами авитаминоза. Проверив Сашку, пожилая докторша с удивлением сказала: «Гляньте, какая у девочки отменная мускулатура при всей худобе!»

Завертывая на пасеку, Сашка видела пчелок, летавших у покинутых ульев. Сунула нос в леток, а внутри ничего нет, и медом не пахнет. Зато на опрятной поляне, где стояли на «курьих» ножках глухие пчелиные домики, богато взошел щавель. Хваткая Сашка собирала щавель, рвала черемшу и дикий лук, сыпанувший вслед за половодьем на нижних лугах, резала серпом в рукавицах ядреную крапиву, чьи узорные листья годились в щи, а стебли на кашу. С приправленного отрубями варева немилосердно пучило, но первая зелень после голодной зимы казалась вкуснее надоевшей картошки. Цветущее, вопреки всему, каленное трудом на морозе и солнце здоровье Сашки упорно тянуло к жизни мать, истерзанную ожиданием. Варили несладкий мармелад из смородины, квасили в тесах съедобные травы, сушили грибы, тарили бочата брусникой...

Караваны барж плыли мимо деревни, выталкивая на песок бегучие ступени волн с кружевными окаемками. К берегу приставали крытые лодки-шитики с парусами, самосплавные паузки, соединенные в кормах, – настоящие флотилии! – и начинался базар. Крестьяне меняли овощи на чайники и ведра или несли свою посуду, кому требовалось подлатать, если со сплавщиками наезжали цыгане-лудильщики.

Марья как-то помчалась к скинувшему сходни пароходу «Пятилетка» и вернулась очень довольная. Бросила на стол перед Сашкой горсть ирисок – на, подсластись, и достала из сумки что-то завернутое в газету. Не удержалась, показала дочери шоколадную плитку с иностранными буквами на коричнево-алой обертке, нежно воркуя: «Ванечка придет, а у нас-то вот, шоколадка для него есть, шоколадка...» Тончайший жестяной шелест фольги и ни с чем не сравнимый аромат незнакомого лакомства чуткая нюхом Сашка запомнила крепко, но сколько бы в мирное время ни брала шоколад, то чудное благоухание никогда не встречалось.

...Жито золотыми волнами ложилось на стерню, вязальщики закручивали богатые охапки снопов – неслыханный случился урожай! Когда груженная доверху машина доставляла зерно на ток, дети подбирали россыпь по всей дороге, и никто не запрещал уносить домой. Целый обоз подвод вез к ссыпным пунктам и зерноскладу лобогрейки, сортировки, веялки... А ведь стояли еще картофельные поля! Осень выдалась теплая, поздняя, Сашка до инея бегала босиком, жалея ботинки. Озябнув, влезала ногами в свежую коровью лепеху, согревались ноги, и дальше – бегом, прытью, стремглав – по береговому песку, по скользкой мертвой хвое таежных тропок, по ежику отрожавших покосов...

Покуда продолжалась уборка, не учились до середины октября. Работали честно и много. Трудились на будущее. Всегда трудились на будущее. К нему вела мечта широкая, привычная, утвержденная партией и правительством; светлое завтра было сегодняшним долгом и, главное, абсолютной верой в то, что рабочий вклад каждого человека помогает приблизить победу... и коммунизм планетарного масштаба... и счастье без границ! Старые учителя плелись с полей потемну, как пьяные, держась за ограды. Сашка, рослая не по годам и по-здешнему «ртутная» до любого заделья, и то к ночи думала, что утром не встанет.

Ободрались вконец просоленные Сашкиным потом Ванечкины рубахи. Ордера на небольшие отрезки тканей выдавали ударникам труда по праздникам, а их всего три: 7 Ноября, Новый год и 1 Мая. Марья за кулек зерна выторговала у городских спекулянтов красивое клетчатое платье. Девочка щеголяла в обновке до первой стирки, но только опустили в воду – платье расплзлось в руках. Мать больше огорчилась, чем разгневалась:

«Как же имям не совестно? Еще, поди, радуются, что надули...» Сшила Сашке и себе шаровары из дерюги, подкрасила настоем ольховой коры. В таких шароварах ходили в деревне и стар, и млад. Штаны эти были куда выше качеством спекулянтских тряпок, но тепла не держали.

В следующие летние каникулы Сашка подрабатывала учетчицей на ферме. За неимением бумаги вела учет молока от каждой коровы угольком на фанерной дощечке. Подведя дневной итог, смывала записанное и чертила новую таблицу. Очень гордилась, получив за трудодни мешок готовой муки – не надо лошадь просить, везти на мельницу! Но больше Сашке нравилось ухаживать за телятами, даже чистить навоз за ними не ленилась. В мае первой открыла перед малышами ворота на пастьбу. Травки, правда, почти еще не было – так, зеленоватый ворс, подснежниковый пух...

И в этом-то бархатном, цыплячем мае произошло могучее событие, великая, всеохватная радость: радио на столбе сельсоветской площади торжественным голосом Левитана оповестило сельчан о полной и безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Доярки увидели гурьбу детей, с криками несущихся к ферме, испугались: пожар?! Потом сами закричали, запрыгали вместе с детьми:

– Победа! Победа!!!

Ликующий шум несся с площади, словно малиновый звон, там – хоть уши затыкай – вопили, голосили, рыдали те, кто ждал, и те, кто положил под скатерть похоронку, но все равно... все равно ждал!..

Приехал из госпиталя контуженый сосед, муж тетки Катерины дядя Кеша. Один за другим, по двое-трое возвращались домой фронтовики. Самой счастливой по всей Якутии была мать пятерых братьев Соколовых из деревни Еланки, недалеко от Сашкиного села. Братья служили в одном орудийном расчете и, как сообщил их комиссар в редакцию газеты, «... в одном только бою уничтожили роту немецкой пехоты, пять автомашин, штаб немецкого полка, две батареи, склад с боеприпасами и шестиствольный миномет...». И все пятеро, в орденах и медалях, вернулись домой!<sup>6</sup> А мать из другого села не дождалась с войны пятерых сыновей. Много лет спустя на косогоре у дороги, куда женщина до самой своей смерти ходила высматривать своих мальчиков в течение тридцати семи лет, ей поставили памятник<sup>7</sup>...

От отца с Ванечкой давно не было писем. Ни слуху ни духу. После вести о войне с милитаристской Японией Марья глухо выла весь вечер в дровянике.

Сашка одна собирала бруснику, у Марьи не доставало ни сил, ни желания. Сидели однажды на крыльце, чистили ягоду. Тетка Катерина пришла пожаловаться на мужа. Оглохший дядя Кеша, прежде спокойный – щенка с тропинки не стонит, обойдет, – стал слабым и, подвыпив, буянил.

Послышался рокот мотора, напротив дома остановился военный грузовик и через несколько секунд развернулся обратно, оставив в дорожной пыли странный, чем-то бугристым наполненный мешок. В открытую калитку Сашка увидела, что мешок шевелится... и вдруг сообразила: это человек, обрубленный почти наполовину. Замерла, узнавая... не узнавая...

Тетка Катерина ахнула:

– Марья! Иван... Твой Иван вернулся!

У матери отказали ноги. Катерина, плача, тащила ее с крыльца и кричала:

– Марья, что же ты, ну?! Ползи, Марья!

---

<sup>6</sup> Одна из улиц с. Еланка Хангаласского улуса носит имя братьев Соколовых. Последний из пяти братьев, Иван, ушел из жизни в 2008 году в возрасте 99 неполных лет.

<sup>7</sup> Памятники Февронии Малгиной – матери, чьи три сына геройски погибли в боях, а двое пропали без вести, установлены в Якутске и в с. Баяга Таттинского улуса (скульптор А. Романов).



И мать поползла.

Отец тоже сделал встречное движение, но неловко завалился лицом вниз, обнял длинными руками землю перед домом, и мощные его плечи крупно затряслись.

Марья застопорилась в нескольких шагах от мужа и хрипло выдохнула:

– Иван, Ванечка где?!

Он приподнял к ней грязное лицо в светлых бороздках слез:

– Не знаю, Марья...

Она тонко, дребезжаще вскрикнула и тяжело уронила в песок седую голову. Так они и лежали на песчаной тропинке голова к голове, он – плотный, короткий, она – сухая и долгая, и только их руки тихо, будто нехотя, медленными змеями тянулись навстречу друг другу, пока не сплелись в один жалкий, серый, мосластый комок.

Кузнец из ближнего села смастерил отцу ловкие колесные салазки с рычажком тормоза и ременными креплениями. Отгалкиваясь от земли ладонями, отец приноровился перемещаться довольно резво.

Его не взяли на ферму даже сторожем. Если в бытность разудалым Ванькой Кондратьевым он мог гужевать неделями и все ему прощалось за молодецкую удасть и веселую злость к работе, то теперь запои неугомонного калеки – пусть бывшего начальника, пусть фронтовика – никто не хотел терпеть даже из душевного благородства. Госпособие по инвалидности отец умудрялся спустить в день доставки. Сашка отгоняла от отца собак, ожесточенно дралась с мальчишками, едва ей казалось, что кто-то смотрит на него свысока... Хотя свысока на него смотрели все, и сама она тоже.

Бражники облюбовали для сборищ бесхозную избенку Чичерина. Бегая туда за отцом, Сашка хорошо изучила ступени его стремления к беспамятству. Слегка заправившись, Иван Степанович оживленно рассказывал тем, кто не отказывался слушать, об освобожденных им городах и деревнях, читал отпечатанную на машинке партизанскую листовку. Он подобрал ее под Харьковом на лесной поляне у села Пересачного. Это было длинное стихотворное обращение к Гитлеру и Вермахту, Сашке запомнились последние строки:

Скоро мы вашу рать  
Заставим носом землю пахать,  
Места у нас хватит  
Вами болота гатить,  
Говорим серьезно:  
Смывайтесь, пока не поздно!  
По поручению пинских партизан  
Писал Солдатов Иван.

Налившись горькой до «ватерпаса» – так Иван Степанович сам называл критический рубеж опьянения, – он насмеялся над потугами председателя вырвать полуразрушенное хозяйство из лап нужды, поносил нынешнего заведующего фермой, бранил все колхозное руководство. Бред отца становился все неразборчивее, надоедливее, и Сашка, как боевая лошадка, увозила его домой. В пути он слегка трезвел, внезапно скидывал ремни, соскользнул с салазок и по-пластунски полз назад, бойко вихляясь ополовиненным телом, царапая дорогу пальцами, пуговицами и медалью «За отвагу».

Сашка понимала: отец ненавидит свое удачливое довоенное прошлое и по-настоящему с войны так и не возвратился. Ночью он спал плохо, стонал – колени болят... Ох, как же болят колени... жилы ноют... лодыжки...

Председатель все грозился снести «пьяный домик» Чичерина, и неожиданно, к всеобщему облегчению, лесник вернулся. Выпивохи сразу забыли протоптанную к месту дислокации тропу. Исхудалый, в длинной шинели, Иван Гурьевич встретился Сашке возле ее дома – показалось, что ниже стал ростом, или это она супротив него выросла.

– Саша? – не поверил Иван Гурьевич. – Ух, какая стала большая!

Спросил о брате. Сашка объяснила – потерялся, ищут по запросу. Постояли молча. Иван Гурьевич сник лицом, оно было совсем старым, аж оспин не видать – в морщинах утопли. Сказал:

– Ищут, значит, найдут.

Развернулся и пошел обратно, ссутулившись, спотыкаясь по чистой дороге, хотя спиртным от него не пахло. Руки-ноги целые, даже не хромой...

Письма Ванечки Марья носила на груди в мягкой тряпке. Сашка углядела тряпичный пакет в предбаннике на полке с бельем, и, пока мать, ухая, охаживала себя за дверью березовым веником, быстренько развернула. Там они и лежали без конвертов, блокнотные листочки с расплывшимися буквами, истерханные, оттого что их часто доставали, целовали и прижимали к лицу. Сашка могла поклясться – Марья знает эти немногочисленные письма наизусть, и с неприязнью подумала: если б какой-нибудь колдун предложил матери поменять дочь на сына, она бы, наверное, согласилась, не колеблясь, и больше не вспоминала Сашку. С возвращением отца мать почти перестала ее замечать, за день Сашке обламывалось от матери несколько слов, и то в повелительном тоне: «Поддай, принеси, сделай».

У Ивана Степановича начались трезвые дни. Обычно он сидел у печки, мял шкуры. Решил заняться сапожным делом. У него получилось бы – руки в роду Кондратьевых, все знали, были золотые.

Сашка занесла с улицы охапку дров, отец пожалел:

– Санечка, доча моя... Прости, что мужскую работу приходится тебе делать.

Марья заметила ласку, хмыкнула.

– Не сердись на нее, – шепнул он. – Мать у нас тронутая чуток, но хорошая...

Сашка присела рядом:

– Тятя, расскажи о войне.

– Что – война? – произнес отец с кривой улыбкой. – Неинтересная это штука – война.

– Но был же героизм...

– А как же, – кивнул он и вытер о культи вспотевшие ладони. – Страшный был героизм.

– Почему страшный?

Отец уставился на красно-серый пепел в открытой дверце печи, и набрякшее от попок лицо его окаменело. Сашка уже думала – не ответит, а он заговорил. Медленно, трудно, будто слова выдавливались изнутри без всякого его желания.

– Сраженье было раз в украинском селе... там один молодой солдат наш, пацан еще, отвоевался. Герой... Истинный герой... был... Кончился бой, и сидит он, помню, на бруствере, руки вперед вытянул – зовет... Маму зовет... Глазницы пустые... а глаза его, Санечка... глаза его, чисто бусины голубенькие... на жилках по щекам висят – взрывом вышибло...

Прикрыв лицо ладонью, отец дернул другой рукой рычажок тормоза и поехал к двери. Прихватил с лавки телогрейку, шапку, перебрался через порог, напустив в дом зимнего тумана... Ругая себя за праздные вопросы, Сашка хотела броситься за ним и остановилась, потрясенная сдавленным окликом Марьи:

– Доченька!

В первый раз за всю свою двенадцатилетнюю жизнь услышала Сашка от матери это слово.

Марья сидела на табурете с бледным, известковой белизны, лицом и простирала к Сашке руки, как тот ослепший солдатик.

– Доченька, – повторила мать, больно прижала Сашку к себе и разрыдалась.

Вскоре стало известно: Ванечка погиб в бою за польский город Калиш. Сашке о гибели брата сказал отец. Мать то ли сожгла письмо с известием, то ли так далеко спрятала, что больше бумагу не видели. Сашка, по крайней мере, не видела, как и шоколад с чудным нездешним запахом, в коричнево-алой обертке с иностранными буквами.

Дровяник не сотрясся от воя Марьи. Она, кажется, не поверила в смерть Ванечки и не плакала из суеверия – чтобы не накликать. Но взяла лучшую карточку сына и съездила в город заказать в фотоателье его портрет. Повесила потом над кроватью рядом с иконой Богородицы и ярким рисунком в рамке, подаренным ей школьником Ванечкой, – синие цветы в небывалой красоты вазе.

В один из святочных дней Марья велела Сашке снести в проветренную после топки баню настольное трюмо. Отправилась туда к полночи, а любопытная Сашка уже ждала: легла на верхний полоч и схоронилась под кучей ольховых веток. Марья прикатила кадучку, поставила ее на попу в углу и, взгромоздив трюмо, зажгла с двух сторон его створок белые свечи в медных подсвечниках. Сама села на низкую лавку и погасила коптилку, с которой пришла. Изумленная Сашка приподняла голову на локтях – острые глаза ее узрели в центральной части трюмо, поверх головы матери, уходящий вдаль коридор – высокий, с длинными черными стенами, но светлый, – весь в свечах, точно храмовый.

Заметно волнуясь, Марья кинула в прозрачный стакан что-то маленькое, блестящее. «Кольцо», – догадалась Сашка и вздрогнула от тревожно зазвеневшего голоса матери:

– Господи, прости мя, грешную, прости глупую... – Марья перекрестилась, кланяясь лицом кому-то невидимому в угол. – Иван Гурьич говорит, обшибка, видать, вышла с похоронной-то бумагой. Военные часто обшибаются. Живой, поди, Ванечка. Может, в плену был, а домой не пускают, и письмо написать нельзя. На пленных-то наши худо смотрят, не жалуют... и где теперь мой сыночек?..

Сашка оцепенела в своем тайнике, боясь пальцем шевельнуть. Тяжкая тишина сгустилась в бане, только сквозь клубящийся под потолком пар падали с прокопченных балок горячие капли. Через минуту напряженный слух стал улавливать непонятные шорохи, скрипы, мышинный писк; в висках застучало. Марья сидела неподвижно, вперив немигающие глаза в зеркальную бездну. Одна капля дзенькнула на днище кадучки перед стаканом.

– Где Ванечка? – всхлипнула мать.

И вдруг...

Забыв обо всем, ошеломленная Сашка протерла лицо ладонями: в сердцевине золотистого отражения смутным пятном проявился какой-то горб, темно-серый, как обтянутая дерюжной рубахой грудь лежащей женщины. Марья глухо вскрикнула и зажала рот рукой. Округлый горб сделался более отчетливым, проступил из глубины сияющего коридора, словно послушался чьего-то зова, двинулся наружу с потустороннего дна, и, наконец, ясно обозначился холм... Не дерюжный – земляной.

Мелькнули, трепеща огнями на неведомом ветру, свечи, из жерла каменки взвевая жаркий пепел, и волосы Сашки поднялись дыбом от нечеловеческого рыка и рева. На пол и стены обрушился дикий грохот, – чудилось, банька заходила ходуном, хлопая дверью, кривясь косым сиреневым окошком предбанника; в свете одной устоявшей свечи Марья – страшная, с растрепанными космами, с разверстой дырой черного крика на свирепом лице – колотила деревянные остатки трюмо о нижний полоч, не замечая, что руки ее изрезаны, и весь пол усыпан кровавыми зеркальными осколками.

Кто-то забарабанил в дверь снаружи. Лохматая тень матери метнулась в предбанник, и ветки веером взлетели над Сашкой, – выпрыгнула с полка за нею следом, мать как раз пинком распахнула дверь, с щепой выдрав накиннутый крючок... Салазки отца кувыркнулись

в сугроб с крыльца. Выскочив из бани, Сашка понеслась по тропе, подгоняемая собственным визгом и жуткими воплями Марьи.

Дома на столе горела лампа, было тепло и как-то кощунственно уютно. Сашка сползла по стене, задыхаясь, посидела на корточках и снова вышла в сенцы. Луна светила ярко, в полную силу отраженного блеска, смотрела вместе с Сашкой на Марью, волокущую с задворок отца. Бешено елозя на салазках, он лупил ее по чему придется одним из крепежных ремней. Она тоже была его куда попало темными от крови руками, не делая попыток заслониться от ударов и голоса монотонно, гулко, как в бочку:

– Мой сынок, о-о-о! Ванечка погиб... а ты-ы-и! Ты-ы... Заце-е-ем, за что, Боже-е?!

– Дай подохнуть! – надрывно, со слезами кричал отец и обзывал мать такими гадкими словами, каких Сашка никогда от него не слышала. – Дай околеть спокойно! Ванька и мой сын, забыла?! Или ты от Чичерина его родила?!!

Покачиваясь, полоща воздух капающими ладонями, Марья внезапно расхохоталась с безумным подвывом:

– А-ха-ха-ха! Я! Я от Чичерина родила! Ха-ха-ха-ха! От скопца! Дивитесь, люди, баба в кои-то веки от бесснастного родила!

Хлестнув отца по щеке, она захлебнулась рыданием и с размаху уселась в сугроб.

– Безмозглая курица, я любил своего сына так же, как ты! – крикнул он, утирая с лица рукавом кровавую печать, и подал жене руку: – Вставай, замерзнешь... Вставай же! Господи, какого лешего я женился на этой дуре?!

Мать поднялась с его помощью, перехватила ремень и потянула отца к дому...

Иван Степанович с полным правом оплакивал сына почти месяц. Отметился в каждом дворе, дерзнул к председателю прокатиться, и тот не прогнал, поднес рюмку белой за помин.

К маю Марья тайком от мужа настояла в бане лагушок<sup>8</sup> браги со зверобоем. Утром девятого, в день рабочий, но с митингом, напекла капустных пирожков. Переделалась вечером в праздничный черный жакет, накинула черный платок и пошла на сельсоветскую площадь. Сашка ежилась, чувствуя неловкость из-за траура матери в принаряженной толпе, но ничего дурного не произошло, не одна Марья была в черном. Председатель прочел доклад, ему недолго хлопали, в нетерпении ожидая основной части мероприятия. Марью среди многих наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», пода-рили ордер на одежду, и Сашка за свой труд удостоилась грамоты с орденом.

Дома, почуяв неладное, мать поспешила в баню. Навстречу ей с бидоном нацеженной браги ехал отец.

– Смыться собрался, – загородила тропинку Марья.

– А то. – Отец задиристо вздернул к ней виновато-испуганное лицо. – Нонче мой день!

Резко выдернув дужку из его ладони, Марье удалось завладеть бидоном.

– Дура-баба! – заорал Иван Степанович и безуспешно попытался поймать ее за летящий подол юбки. В кухне мать безмолвно водрузила бидон на буфет и спокойно достала с полки миску с пирожками. Перевалив через порог, отец из вредности придвинул к буфету скамью, два табурета и лавочку.

Марья готовила на стол, с мстительной улыбкой наблюдая за потугами мужа. Не выдержала, съязвила:

– Ох и посмеюся же я, когда ты лететь со своей каланчи будешь!

Иван Степанович в сердцах сплюнул на пол:

– Я уйду от тебя сейчас!

– Уходи! – закричала Марья. – Ужо от ярыжника ослобонюсь!

---

<sup>8</sup> Лагушок – небольшой (полтора– или двухведерный) бочонок с закрывающейся крышкой и краном.

– Вот и ладно, – зловеще скривился он. – Но не думай, я судиться буду. Здесь мое все!  
– Твое?.. Ага, Ванька Кондратьев, твое! – Марья пошла на него, уперев руки в бока. – А не чичеринское ли? Не скопцовское ли? Или поблазнилось мне, что ты полдня план сочинял, как у Ивана Гурьича добро-то ловчее отнять?!

Стараясь держаться прямо, отец крутанулся на колесах салазок и увидел прижавшуюся к стене Сашку. Пробормотал в сторону:

– Хоть бы не при дочери на отца клеветала, кобыла старая...

– Я – старая? – зашипела Марья над его плешивой макушкой. – До молодух тебе слинять нейдет? Да только кому ты нужен-то, полчеловека!

Щеки и шея отца налились свекольной краснотой. Оттолкнув жену, он мощным рывком рук перекинул себя с салазками к буфету и, не успевшая опомниться, уперся в него спиной. Истошный крик Марьи потонул в лязге и дребезге посуды, вывалившейся из распахнутых дверок. Бидон весело проплясал к краю и, оросив кухню терпким мутным дождем, загремел по столу.

– Скотина ты-ы! Бык ты-ы-и! – Марья вцепилась в остатки отцовских волос.

– Выйди, Санька, не смотри! – сорванным заячьим голосом, словно дурачась, заверещал отец и сцапал мать поперек живота.

Вылетев во двор в платье, Сашка поняла, что скоро озябнет. На улице было ветрено и совсем еще светло. Залезла на чердак и зарылась в невыделанные шкуры, собранные по деревне так и не сбывшимся сапожником. Где-то кричал мужчина – то ли отец внизу, то ли ветром с дороги принесло:

– Нале-во! Шагом... арш!

Сашка завернулась, как могла, в жесткую волчью шкуру мехом к себе, и прильнула к пыльному чердачному окну.

– Ать-два, ать-два! – По дороге, уже просохшей от луж и не пыльной, кое-как поднимая больные колени, маршировала в солдатской пилотке тетка Катерина. Дядя Кеша шагал позади, приставив к затылку жены дуло охотничьего ружья. В лучах позднего солнца ярко сверкали на гимнастерке боевые награды. Сашке хорошо было видно сверху раскрасневшееся, довольное лицо пьяного соседа.

– Кру-гом! – скомандовал он. – Лечь! Встать! Лечь! Встать! Вста-ать, кому сказал!

Тетка Катерина становилась на карачки, тщетно силясь подняться, и раздавалась новая команда. После нескольких честных попыток исполнить приказ Катерина схватилась за поясницу и осталась лежать лицом вбок.

– Стреляй, вражина... – донесся ее осипший от плача голос.

«Учения» завершились. Поддерживая жену за пояс, дядя Кеша потащил ее, обезножившую, домой.

Сашка прислушалась к нижним звукам. Подозрительная тишина заставила ее спуститься с крыши.

...Родители мирно беседовали за столом, закусывая брагу пирожками. Весь дом провонял тошнотворным духом кислого сула и перебродившего со зверобоем зерна. Сноровистая Марья умудрилась за короткое время прибрать разбитые тарелки, подтереть полы и сгнать с бидоном в баню. Сашку не удосужилась кликнуть, хотя наверняка видела, что дочь убежала в одном платье.

Ощущая свою ненужность, Сашка тихо проскользнула в свою каморку и, не раздеваясь, легла в постель.

Почему-то вспомнилось, как Марья припрятывала для Ванечки конфеты, подвигала ему за столом вкусные кусочки. Покупала сыну городские рубашки, забывая о том, что обманились Сашкины платья, пошитые из старья. «Ванечки не стало, кого теперь матери любить-то? – страдала Сашка. – Я ей лишняя, тятя – калека...» Плакала, жалея всех, особенно мать,

и, противореча себе, мечтала, как вырастет взрослая и родит девочку матери назло... Тогда и дернулась слева в груди, болезненно затрепетала тонкая ниточка, – не оборвалась, слава богу, но будто бы попросила не теревить, не надсаживать сердце обидой.

В передней отец снова гневно возвысил голос:

– Дай, говорю!

– Нет, – громко отрезала Марья.

Сашка спрыгнула с кровати, подобралась к занавеске в носках и чуть приоткрыла с угла.

Марья, прямее некуда, сидела на табурете, отец слез зачем-то с салазок и, обхватив ее колени, пожаловался:

– Мне эта бражка как морю капля.

Выпростав ноги из кольца мужниных рук, она встала к нему спиной у окна.

– Негде водки сейчас купить.

– Касьянчиха самогон продает, – встрепенулся он. – Недорого... Мать, ну не будь жмотиной, дай. Получу пособие, верну, ей-богу. Мать, ма-ать...

Марья гневно обернулась:

– Не смей называть меня так!

Отец откинулся к ножке стола.

– И впрямь, чего это я... Кому ты мать? Сашка... А где Сашка?!

– Спит давно, – презрительно усмехнулась Марья. – Залил zenки, проворонил, как к себе шмыгнула. А ее трудно не заметить, здоровая стала девка.

«Надо же, видела меня», – удивилась Сашка. Отец бухнулся в салазки и, подкатившись к Марье, запрокинул к ней умоляющее лицо:

– Мы с тобой помянули сына. Это правильно. Но пойми, я – солдат. Я защищал Родину. Дом свой защищал, тебя, дочь. Не один я, другие тоже, и те, кто погиб, защищали своих и землю нашу. Имею я право сегодня выпить за помин погибших товарищей?

Марья отступала от отца, пятясь, выдирая подол из его цепких пальцев.

– Нет, ты мне скажи, жена: имею или не имею?!

Остервенело выдернув из-под кофты, из лифчика бумажную купюру, мать выкинула ее в середину комнаты:

– На, бери, напивайся!

Отец подскочил на кулетьях, взмахнув рукой, но словить деньги на лету не удалось, и рухнул на пол. Вывернувшиеся салазки швырнуло от толчка в дверь. Искося глянув на них, отец пополз к деньгам, бормоча:

– Прости, Марья, я виноват перед тобой... Всю жизнь тебе испоганил... Если можешь, прости... Зачем ты вышла за меня? Господи, лучше бы меня убили!

До вожделенной бумажки осталось руку протянуть, а он вдруг забился лбом об пол, с надсаженным стоном выталкивая из горла судорожные обрывки слов:

– По... че... не... у... би... ли... Гос... поди!

Мать упала рядом с ним на колени, прижала голову отца к своему животу и заплакала, замотала распутившейся седой косицей:

– Нет, Ваня, нет, нет, нет, нет, нет...

...Сашке не спалось и ночью. Повертевшись на постели, она вышла, попила воды из ковша и, проходя мимо комнаты родителей, замедлила шаги.

– Дай, – просил отец.

– Нет.

– Ну дай...

Голоса были тихие. Сашка сначала подумала, что отец снова требует денег на выпивку. Но вдруг поняла...

– Не дам, – игриво сказала мать. И захихикала.

Прижав ладони к жарко полыхнувшим щекам, Сашка бросилась в каморку. «Боже, неужто они до сих пор... Такие... старые... Как... отец же безногий!» Она нырнула в постель, сжала уши ладонями, чтобы не слышать шепота и скрипа в соседней комнате, а с мыслями ничего не могла поделать – они лезли к ней, стыдные, глупые, горячие, заставляя стискивать зубы, жмурить глаза, обливаться под подушкой слезами и потом...

На следующий год, когда отменили карточную систему, а по стране опять случился неурожай, и в магазинах было шаром покати, но начали продавать водку, Иван Степанович отправился за ней зимой пьяный и поморозил одну из культей. Началась гангрена, везти в городскую больницу стало поздно...

Дядя Кеша, славный плотник, выстругал соседу гроб в полный рост, с учетом несуществующих ног. На отца натянули купленные Марьей у спекулянтов брюки, набили их сеном и надели начищенные ваксой кирзовые сапоги. Сашка удивилась, каким, оказывается, отец был высоким. Она совсем не помнила его с ногами. Всю память о довоенном отце перебили салазки на колесах и отцовские руки с каменными, несмываемо серыми мозолями на ладонях.

Марья не плакала, но глаза ее запали и совсем потеряли свой яростный синий цвет. Сидя после поминок у печки, она, не курящая, вдруг задымила папиросой из оставшейся от отца пачки «Беломорканал» и, с глубоким отвращением глянув на Сашку, проговорила:

– Как же ты на него похожа.

Сашка оскорбилась. Не потому, что действительно смахивала на отца внешне, а из-за того, что нравом – негибким, упрямым, самой себе обременительным в скрытном одиночестве, постылым и неизменчивым нравом – она походила на мать.

...Сашке часто снился приземистый, широкоплечий отцовский силуэт, катившийся в салазках по песчаной дорожке встречь алому, как знамя, рассвету.

А на дорожке больше не было дрожащих на ветру березовых теней в медовых пятнах. Марья срубила красивые березы в палисаднике, – сказала, что застыт солнце, и под окнами разрослись ядовито-зеленая, узорно вырезанная крапива и ушастые лопухи.

Сашка думала о странной связи живого и мертвого, что без конца перетекает одно в другое. Умерли Ванечка, отец и березы, и все умрут, и она, Сашка, когда-нибудь исчезнет, а жизнь будет продолжаться и идти вперед к всеобъемлющему коммунизму и счастью. Появятся новые люди, не знающие войны... Все изменится, уже меняется, – на пасеку прилетели молодые пчелы, приручились и начали давать мед. Мать увлеклась пасечной работой, рассказывала о пчелах, как раньше Ванечка, радовалась: жимолость зацвела, будет хороший взяток...

Иван Гурьевич редко выходил из своей избенки – болел очень. Руки-ноги целы, а живот, оказывается, был разворочен осколком снаряда. Марья ходила лечить Ивана Гурьевича, звала в большой дом, – дом же и принадлежал ему по справедливости, по наследству от старых скопцов. Но Чичерин не захотел, так и умер в избенке. Марья горевала, что в конце жизни Иван Гурьевич перестал верить в Бога. И в настоящего Бога, и в своего, скопческого... А сама Марья каждый вечер стояла на коленях у кровати перед иконой Богородицы, портретом Ванечки и синими цветами в рамке.

Сашка знала, о чем молит Богородицу мать. Марья просила, пока она еще в силе, чтобы дочь поскорее вышла замуж и родила сына, а ей – внука.

## Роман Сенчин Дядя Вася

Соседнюю с нашей пятиэтажку называли ветеранской. Может, в шестидесятые, когда ее сдали, в ней и поселили в основном ветеранов, но к началу восьмидесятых их там оставалось человек семь-восемь. Кто-то переехал, кто-то умер...

Эти оставшиеся были еще нестарыми. Имели «Москвичи» и «Запорожцы», один, очень невысокий, – пацаны лет в четырнадцать перегоняли его в росте, – с обожженной половиной головы (даже волосы не росли), гонял на «Урале» с люлькой и иногда катал нас, ребяташек, по кварталу – мимо хоккейной коробки, кафе «Огонек», металлических складов, которые ни разу на моей памяти не открывали – ничего в них не загружали, ничего не выгружали...

Тогда, в начале восьмидесятых, как раз началась дачная лихорадка: люди разбирали участки, но не для отдыха, а под картошку, грядки, – и ветераны были в первых рядах дачников-огородников; они часто ездили в тайгу, и по вечерам, вернувшись, чистили и мыли грибы во дворе, перебирали ягоду, громко обсуждали поездку.

Были среди них рыбаки, были охотники. Помню, однажды кто-то из ветеранов привез на крыше своего «Москвича» тушу сохатого и, порубив ее, затащил на балкон. Не забыл угостить кусками багряной, кровянистой мякоти и наблюдавшую за процессом ребятню.

В общем, ветераны были людьми очень активными, умели и хотели радоваться жизни. Правда, внешности их, кроме того, с обожженной головой, их имена забылись, стерлись. Мне запомнился другой ветеран. Наверняка не войны ветеран, но тем не менее...

Его звали дядя Вася.

Он был огромный и сумрачный, вечно насупленный. Волосы густые, без единой темной проталины седые... Сидя на лавочке у подъезда, он с прищуром следил за прохожими, за играющими детьми, соседями. Носил всегда одно и то же: черные блестящие сапоги, синие широкие штаны-галифе и серовато-белую рубаху с нагрудными карманами, очень похожую на гимнастерку. В холодное время надевал короткий полушубок, каракулевую папаху. Часто держал в руке прутик, похлопывал им по сапогам, по асфальту...

Дачи его семья не имела, машины – тоже. Да и не могу сказать, была ли у дяди Васи семья. Запомнил его одного – одиноко сидящего на лавочке. Не спокойно сидящего, а как-то вынужденно. Казалось, появившись во дворе подобный ему огромный и мощный человек, вели идти за собой, он поднимется и пойдет. А по пустякам шевелиться не стоит. И на своих сверстников-дачников-рыбаков-охотников он смотрел с какой-то обещающей ухмылкой. Давайте-давайте, дескать.

Правда, у него тоже были увлечения. Огородил часть двора и посадил там несколько лиственниц, елок, кусты жимолости и голубики. Наш двор был истоптан – ни травинки, лишь несколько толстых кривых тополей, – а у соседей вот кусочек леса настоящего.

Всё бы хорошо, но дядя Вася опутал этот кусочек колючей проволокой и гонял всех, кто пытался на него проникнуть. А проникнуть очень хотелось – так соблазнительно синели на кустах ягоды, иногда выскакивали и грибы – маслята, волнушки, обабки... По сути, дядя Вася целыми днями и сидел на лавочке для того, чтобы охранять свой лесок, для защиты и держал в руке прутик.

В жару он выносил на улицу шланг, присоединял его к торчащему из стены дома крану и поливал лесок, брызгал ледяной водой и на бегающую по двору ребятню. Однажды облил и меня, и я заболел ангиной. Помню, мама ругалась: «Я говорила тебе не подходить к нему?! Почему ты не слушаешь?» А отец отправился разбираться с дядей Васей.



Не знаю, чем там у них закончилось. Но после этого дядя Вася стал на меня щуриться особенно злобно, а я старался держаться от него подальше.

Вообще с ним почти никто не общался. Некоторые, проходя мимо дяди Васи, презрительно и в то же время боязливо на него поглядывали... Довольно долго я не мог понять, почему люди к нему так относятся...

Еще одно увлечение дяди Васи казалось нам, пацанам лет десяти-пятнадцати, очень странным. Каким-то таинственно-зловещим.

В пятиэтажках были подвалы. В подвалах – клетушки для хранения разных вещичек, а главное – для дров и угля. Дело в том, что изначально горячей воды в квартирах не было, в ваннах стояли титаны – печка с длинным, до самого потолка, баком. Воду для мытья посуды грели на плите, умывались в основном холодной водой, а титаны топили по субботам. И с утра мужчины возле подъездов рубили какие-то палки, кололи полешки. «Банный день» было для нас, городских жителей, не пустым понятием, а заготовка дров – важным занятием. Несли с прогулок рейки, сухие ветки, штакетины, обломки досок...

К середине восьмидесятых в дома провели горячую воду, титаны повыбрасывали, а подвалы пришли в запустение. Они и до этого мало использовались – замки постоянно кто-то сбивал, трубы лопались и заливали пол, по стенам расплзался грибок; хранить там что-то ценное было опасно.

Но дядя Вася подвал под своим подъездом оборудовал как следует и устроил там нечто типа спортзала. И часто мы сквозь щель в зарешеченном и занавешенном окошечке подглядывали, как он поднимает гири, подтягивается на вделанной в стены стальной трубе, отжимается... Нам это представлялось тогда каким-то нелепым, но пугающим – старику лет под семьдесят, а он занимается физкультурой. Может быть, мы бы и смеялись над дядей Васей, если бы он не был таким огромным, здоровым, мрачным. Шутки с ним могли закончиться плохо...

Магазины – хлебный, молочный, гастроном – находились на другом конце квартала. Нужно было пройти метров триста по центральной улице нашего небольшого, зажатого горными хребтами, города.

Дядя Вася отправлялся в магазины нечасто, и каждый выход становился чуть не событием. Одевался в выходное: летом это было нечто вроде френча, зимой – полушубок с золотистыми овечьими кудряшками. На голове была папаха, но не та, потертая, с проплешинами, в которой сидел во дворе, а новенькая, блестяще-черная. На ногах летом сапоги, тщательно вычищенные, а зимой – белые бурки с черными полосками.

Шел дядя Вася по тротуару медленно, твердо ставя ноги на асфальт; оглядывал окрестности, трудно ворочая головой на короткой шее. Руки обычно держал за спиной, в них покачивалась большая лакированная сумка. С сеткой – которую у нас никто авоськой не называл – дядю Васю не видели.

Обратный путь он совершал через дворы. В одном из них на скамейке, но не возле подъезда, а поодаль, под большим тополем, сидел древний старик. Он был тоже в полувоенной одежде, тоже в папаче, или, может, кубанке. На груди у него был орден Красного Знамени. Круглый, без колодки, совсем такой, как у героев Гражданской войны в учебниках истории. И главное – старик опирался не на палку, а на ножны от шашки!..

Мы, пацаны, иногда пытались подсесть к старику, порасспрашивать его, но он отмахивался, бормотал: «Бегите гуляйте... – И очень быстро начинал сердиться: – Ну, кому сказано!» Иногда совал кому-нибудь из нас ириску или карамельку в засалившейся обертке...

Дядя Вася садился рядом с этим загадочным стариком, и они закуривали папиросы. Так-то дядя Вася почти не курил... Не вспомню, чтобы о чем-то разговаривали, что-то обсуждали. Но такое единение было в их молчаливом курении, будто они без слов передают другу важное, необходимое...

На некоторое время поблизости от старика – во дворе противоположного дома – появился парень в форме десантника. Голубой берет, тельняшка под кителем... Ребята из того дома рассказывали, что парень подарил им свой мотовелик и теперь вот сидит и о чем-то всё думает, никого не подпускает с вопросами... Очень быстро этот десантник исчез – ребята сказали: «Уехал». Но несколько недель он и старик представляли собой загадочное и жуткое зрелище...

О войне наши ветераны не рассказывали, а если их все же приводили в школу, вспоминали что-нибудь забавное из солдатской жизни, так что война нам казалась нестрашной, а скорее увлекательной, как наши собственные игры в войнушку... Военную одежду они не носили, предпочитая рубашки, майки, трико, которое позже стали называть трениками.

Иногда, правда, отправляясь в какое-нибудь учреждение, ветераны нацепляли на свои гражданские пиджаки орденские планки, которые, видимо, должны были служить дополнительным аргументом, что ту-то или ту-то их просьбу, требование нужно удовлетворить. Правда, заметно было, что ношение наград особого удовольствия ветеранам в то время не доставляло.

У дяди Васи же всегда на летней рубашке-гимнастерке или на френче был некий овальный значок с мечом, поверх которого золотились серп и молот, и их обрамляла кроваво-красная лента... Долгое время этот значок был для меня загадкой, но недавно в Интернете я наткнулся на его изображение. Оказывается, это был знак заслуженного работника НКВД.

Понятно, почему дядя Вася вел такую одинокую жизнь во дворе – без друзей, один на лавочке у подъезда, без разговоров и шуток...

Запомнился случай, когда дядя Вася решил присоединиться к кружку ветеранов. Было это, скорее всего, девятого мая восемьдесят пятого года, в сорокалетний юбилей Победы.

Утром на площади состоялся парад, в этот раз особенно мощный, – мимо памятника Ленину и трибун рядом с ним промаршировали колонны расположенной в республике мотострелковой дивизии, солдат внутренних войск (колоний рядом с городом хватало), пограничного отряда (граница была недалеко), милиционеров, проехали несколько БМП и грузовиков с орудиями, «узики-таблетки» с крестами медицинской службы на боках. Танки пускать не решились, чтоб не попортить и так вечно потрескавшийся асфальт.

Ветеранам вешали на грудь юбилейные медали, ордена Отечественной войны, дарили цветы... Ближе к вечеру во многих дворах города были накрыты столы, и ветераны со своими семьями, с соседями стали отмечать праздник с выпивкой и закуской, с песнями, невеселыми, но душевными, щиплющими душу... Мы, хоть уже не пацанята, которым всё можно, тоже были здесь. За стол не лезли, слушали, что говорят старшие, как поют. Но принимали подаваемую еду, понемножку вина в стаканах. «Только родителям не говорите», – подмигивали старики.

И тут появился дядя Вася. В парадном своем френче, но без неперемного знака с мечом. В руке держал бутылку водки. Пытался улыбаться, но улыбка получалась не очень – кривая какая-то, неприветливая.

Подошел, поставил бутылку на стол. Сказал громко: «Поздравляю, товарищи!»

«А ты чего? – вдруг вскочил один из ветеранов, обычно тихий, интеллигентный, носивший серую шляпу с дырочками. – Ты-то чего? Не твоя она, победа!» Видимо, он прилично выпил уже, потому и сорвался. Но никто его не стал останавливать, смотрели на дядю Васю враждебно.

«Да, да, вы там их били, – захрипел дядя Вася, и огромное мясистое лицо его стало темно-красным. – Вы там, а я – тут... Тут их тоже хватало. И они бы в спину вас!.. И еще... вот увидите еще, как они поднимутся, недобитые. Они еще такое устроят! Помните!..»

Дядя Вася взял бутылку и медленно, тяжело впечатывая ноги на асфальт, двинулся к своему подъезду.

Наверняка никто тогда, теплым вечером 9 мая 1985 года, не придавал значения его словам. Почувствовали облегчение, что ушел. И, видимо, чтоб разбить давящую тишину, жена обожженного танкиста, полная, румяная бабушка, запела девичьим голосом:

«Вот кто-то с го-орочки спустился, наверно, милый мой иде-от!..»

Другие женщины подхватили, прижались к своим мужьям...

А потом началась перестройка. Сначала радующая и воодушевляющая, а потом пугающая, тревожащая. Конец ее всем известен.

Всё рушилось и разваливалось. И что-то, словно их чем-то отравили, происходило с людьми. Или мне так сейчас представляется?..

Мы, десяток пацанов из соседних пятиэтажек, выросли. Одни уходили в армию, другие садились в тюрьму... Как-то раз, зимой, в выходной день, несколько ребят зашли за мной: «Поехали на дачи». «Зачем?» – удивился я. «Ну так, походим». То ли были какие-то дела, то ли просто лень удержала, и я не поехал. А через несколько недель в школе состоялось общее собрание. Обычно устраивались комсомольские, а тут – общее, с первого по десятый классы... Всех согнали в актовом зал и объявили: «Пятеро наших учащихся арестованы! Они грабили садовые домики, ломали мебель, уничтожали то, что создавали люди честным и тяжелым трудом!»

Четырех за это посадили, один, младший, которому на момент преступлений не исполнилось четырнадцати лет, остался на свободе. И тут же поползли разговоры, что его убьют. Его и убили через год-полтора – нашли в сквере с проткнутым горлом. Вокруг – круговые дорожки крови. «Долго метался, – говорили знатоки, – пока кровь не кончилась». Кто убил – так и не узнали. Да и, кажется, в то время, в конце восьмидесятых, уже особо упорно и не искали.

Убийств в городе становилось всё больше и больше. Всё чаще и чаще привозили из армии парней в железных гробах. «Это не железо, – как-то раз объяснил один взрослый мужчина. – Это – цинк. Чтобы трупы не портились». И вскоре по городу, из квартиры в квартиру, поплыла запись тихой ядовитой песенки: «Берегите цинк, цинк – подрастает ваш сын».

Хоронили в то время из квартир. Сутки или двое гроб стоял в большой комнате, вокруг сидела родня и друзья. Потом выносили гроб во двор, ставили на табуретки. С покойником прощались соседи. Грузили в открытый кузов грузовика и медленно везли на кладбище, бросая на дорогу пихтовые ветки. Обгонять процессию было неприятно, и часто возникало то, что потом стали называть пробками...

Два цинка привезли и в наш квартал. Не друзья мои в них лежали, но хорошо знакомые парни. Из той же школы, в которой тогда доучивался я... Ездил на кладбище, смотрел, как рыдают над закрытыми гробами их матери, растерянно и виновато смотрят в ямы отцы; самовольно вскрывать цинк тогда никому и в голову не приходило, хоронили вот так... Одного, как говорилось в документах, убило лопнувшим тросом в Туркмении, другой сорвался на машине в ущелье в Киргизии. Но люди были уверены, что оба погибли в Афганистане. В далеком, непонятном, зловещем Афгане.

Закончился Афганистан, начались статьи про дедовщину. Страшные статьи. Призывники ломали себе руки и ноги, глотали стекло, чтоб не идти в армию...

Магазины пустели, за каждой выброшенной на прилавки мелочью выстраивались очереди; в винных отделах случались настоящие побоища... Помню такую сцену в одной из очередей.

Молодой парень орал на старика: «Чё ты мне кровью своей тычешь?! Чё тычешь-то?! Я ее не проливал?» – И стал колотить протезом руки о стену... Тупой стук пластмассы...

Дядя Вася появлялся на своей скамейке всё реже. Кусочек леса не поливал – кран в стене заварили, – и кусты засохли, нижние ветки елок висели серыми космами... Выбираясь во двор, дядя Вася уже не хмуро оглядывал людей, а печально и сожалеюще как-

то. Как неизлечимо больных, что ли... Или снова это представляется из сегодняшнего дня мне, знающему, что после восьмидесятых будут девяностые, что наш город, столица одной из автономных советских республик, превратится в огромный азиатский аул?..

Летом восемьдесят девятого года я с горем пополам (куча троек в аттестате, по химии так и вовсе «прослушал») окончил школу и рванул на другой конец страны, в Ленинград. Поступил в строительное училище, но становиться строителем и не думал, да и никто из ребят в нашей группе не видел себя в будущем маляром или плиточником, – все пользовались бесплатной крышей над головой, халявной кормежкой, чтобы устроиться получше или, на худой конец, оторваться перед армией. Я был в числе этих вторых. Рок-концерты, музеи, девчонки, «Пшеничная» водка, обмененная на талончики на сахар...

Через два с лишним года, в конце декабря девяносто первого, в шинели с сорванными погонами (гражданский человек, паспорт в кармане), в своих доармейских кроссовках, купленных у кооператоров на Некрасовском рынке, я вернулся домой – в маленький город, окруженный горами.

Шагал от автовокзала и удивлялся, почему это в семь часов вечера улицы пусты – ни одного прохожего, машины редки, проносятся на бешеной скорости, будто от кого убегая... Удивлялся, но ликование было сильнее: отслужил благополучно, не попал ни в какие горячие точки, которых после Афгана стало полно на территории родной страны. И дедовщина меня миновала...

Завернул по пути в гастроном, хотел купить младшей сестре коробку конфет (деньги были) и остолбенел. В нашем гастрономе было чисто и гулко, из товаров – детское питание «Малыш» и какая-то мочёная трава на тарелке.

«А ты как, пешком шел? – вместо приветствий испуганно спросила мама. – Да ты что?! Одному нельзя по темноте... У нас тут такой бандитизм!..»

Позже, во время праздничного ужина, состоявшего из обильных домашних солений и тушеной брюшины с пшеничной кашей на горячее, родители рассказали:

«А тут этот, дядя Вася, умер. Буквально за неделю до твоего приезда... И ведь как не поверишь в приметы... Плохой это был человек, много зла людям сделал. И вот – когда стали гроб с ним выносить из квартиры, он на площадке не поворачивается... Огромный же этот был. В морг его не возили – что ж, старый человек... В квартиру гроб боком подняли, а тут-то прямо надо. И – никак... Вынули, на одеялах вынести, во дворе обратно положили. А он уже портиться начал, так что... Извини, что за столом говорим об этом... На кладбище почти никто не поехал – мороз, да и не было охотников с ним попрощаться».

«Тех бы, кого он в ГУЛАГе замучил, поднять, – добавила сестра, – они с ним по-своему попрощались бы».

Я кивал, конечно, был согласен. А через несколько дней, наблюдая по телевизору, как спускают в Кремле флаг СССР, вспомнил слова дяди Васи, сказанные ветеранам войны за семь лет до этого, девятого мая восемьдесят пятого года: «Тут тоже врагов хватало. И они бы в спину вас!.. И еще увидите, как они поднимутся, недобитые. Они еще такое устроят!»

Немного позже нам объяснили, что Советский Союз был давно обречен, что социализм является нежизнеспособной формой, что почти все подвиги – миф, великие стройки – блеф... Но кто объяснил? Не те ли враги, с которыми боролся и из-за чего стал презираемым окружающими сумрачный дядя Вася?

## Михаил Левитин

### Чехи

*Посвящается М. И. Филиппову*

И хаос прежних мыслей ударил в голову.

**...немцы, Таганрог, новый порядок...**

«Плохой город, неправильный, и еще я со слежавшейся мошонкой», – думал Филип Коварж, отбрасывая одеяло. Он не понравился себе голым, и это его огорчило.

– Нельзя не нравиться самому себе, – говорила мама. – Почему тогда ты должен нравиться людям?

И правда, тело не виновато, это вползли мысли, черные, воспаленные, и заявили свои права. Хаос прежних мыслей...

Чтобы убедиться в некрасивости вокруг, не стоило просыпаться. Квартира не убиралась. За ночь нос и горло забило вековой пылью. Хозяйке было все равно. И при советской власти, и сейчас, в оккупированном немцами городе. Ей было все равно уже тридцать лет. После гибели жениха-офицера в Гражданскую она никогда не убиралась и не любила, когда в её квартире это делали другие.

Немцы были поражены: «Доктор, мы найдем вам квартиру почище!» А между собой говорят, наверное: «Что вы хотите – чех!»

За окном кто-то пьяно кричал по-немецки, ему, оправдываясь, пытался ответить девичий голосок, да так беспомощно и тонко, с такими малороссийскими интонациями, что не оставалось сомнений, кому он принадлежит.

«Маша, – подумал Филип. – Это ээсовец пристает к Маше!»

Он вскочил и, как был голый, бросился к слюдяному от пыли окну. Не окно, а растянутый рыбий пузырь, сквозь который тусклый рассвет и крик Маши.

**...Моя Марусенька, моя ты душенька...**

Ничего не было видно.

– Не стану вас лечить, – крикнул он, пытаясь вырвать шпингалеты из пазов, – если вы не отпустите её сейчас же, я же сказал, она не подлежит отправке в Германию. Пока я с ней, никому не принадлежит, у меня есть разрешение, будьте вы прокляты, не стану вас лечить!

Шпингалеты не поддавались, окно не открывалось, потом в секунду раздалось на две половины, и он увидел на уровне подоконника седой колтун хозяйских волос, собранных в пучок, и её надменный, разучившийся удивляться взгляд.

Она стояла под мелко морозящим дождем и смотрела на него.

– Господин доктор, – сказала она по-немецки, – вы совсем с ума сошли?

– Где Маша? – крикнул он.

– Совсем сошли? – повторила она. – Маша спит в своей комнате. Вы своим криком напугали весь город. Придет ваш СС или, еще хуже, полицаи, и вам придется отвечать.

– Говорите со мной, пожалуйста, по-русски, – сказал Филип, оглядывая улицу за её спиной. – Я же вас просил.

– Ах, простите, – сказала хозяйка. – Никак не могу привыкнуть к вашим капризам. Простите, что к тому времени, как вы оккупировали наш город, я не выучила чешский.

Откуда было знать, что Бог пошлет мне такого необычного квартиранта. Закройте окно. Сыро. А ваших ворованных госпитальных дров почти не осталось.

Он не спросил, что она делает на улице, откуда вернулась или куда собралась. Все неважно, если Маша спит в соседней комнате.

Прислушиваться бессмысленно. Она спит тихо, с такой неохотой просыпаться, что даже дыхание невозможно расслышать. Она спит, не желая вставать, не желая разговаривать, начать сопротивляться жизни. Она отказывалась воспринимать мир как угрозу, а жизнь как постоянную борьбу с ней. Она не хотела бороться, не хотела вставать, видеть его постаревшее лицо с отеками под глазами. Она спала бесшумно, никому не мешая.

«Что за девчонка? – подумал Филип. – Зачем я спасаю её? Она не нуждается в моей помощи. Если будет нужно – спасется сама. Вот только как?»

Он представить не мог, как может эта шестнадцатилетняя девчонка с задранной вверх, чтобы казаться выше и наглей, подбородком сделать что-либо для себя в этом, сдавшемся на милость победителям городе. Никогда победа не была такой легкой и приятной. Нет, конечно, постреливали со стороны порта, где стайка катеров пыталась уйти к Мариуполю, но выскочили на берег мотоциклы с автоматчиками и открыли по ним огонь.

Море было открытое, ветренное, волны сопротивлялись катерам, люди гибли быстро, отчаянные бросались в воду, пытаясь добраться к плавням, но не успевали, оставались лежать на воде лицом вниз, а самые умные возвращались к берегу навстречу огню и поступали правильно. Немцы рассказывали, как помогали раненым выйти из воды, не достреливая.

Двое из этих спасенных оказались в его госпитале, и он, извлекая застрявшие в теле пули, удивлялся, как в этот раз гуманно вели себя немцы, даже СС. Зачистили город от евреев, расстреляли их тысячи полторы, больше не нашлось, и успокоились.

Город сам начал разбираться в ситуации, действовал на удивление разумно, внушая себе, что ничего не переменилось. Это был прежде всего торговый город. Деньги – товар, товар – деньги. Ну война, пришли немцы, наводят свой порядок, а никто другой и не наводил его раньше. Большевики – те же немцы, кто их звал, откуда они?

Этот город напоминал все сразу. Немцам – немецкое, Филипу – свое. Он был переводом с того и другого. Он был понятно сложен, сбит, собран, легко ориентироваться. Этот город производил и поглощал. Поглощал, конечно, не сам город, а море, какое-никакое, но море у города было, у других и такого нет. Все производимое сбывалось морем. Город был полон ветром корысти и наживы, сдобренным веротерпимостью. Национальности присутствовали все. И торговали, торговали.

За него воевал царь Петр. И вообще, этот город нравился царям. Он мог бы стать мериллом городов. Все пригнано, разумно, на месте. Один из царей, Александр Первый, хотел в нем умереть и умер. Город принял это как должное, где же, как не у нас, отпел царя, поставил памятник, перенес в легенду, вернее, в байку. Царь превращался в святого старца Федора Кузьмича и уходил в скит, чтобы отмаливать грех отцеубийства, а вместо царя похоронен его двойник, простой солдат. Так что царь оставался жить в городе. Он для того и существовал, чтобы раздуть и без того раздутый самодовольством местный патриотизм. Должно быть, забавно смотреть на этот город сверху. Как человек смотрит на циферблат отменно идущих часов, так и Господь взирал на город, с точностью хороших часов существовавший. Кто вошел в лавку неважно, зачем поднимать голову, прерывать работу. Если вошел, значит, купит или присмотрится. Чтобы управлять таким городом, надо было угадать в нем потребность обыграть, обойти, обмануть, заработать и... возгордиться.

Приморский город, не большой и не маленький, как и море вокруг него, неглубокое, но море. Свое.

«Умная девочка, – думал Филип, идя по дороге к госпиталю. – Я объяснял ей, что жизнь – пауза, которую необходимо чем-то мощным заполнить, а что мощней революций, войн? В чем человек еще способен проявить себя полностью? Свою трусость или свою отвагу? О чем он будет рассказывать внукам на старости лет, если уцелеет? А не уцелеет – будут рассказывать о нем. Он был свидетелем войны, изменившей мир, к лучшему или худшему – какая разница. Раструсить себя, раструсить обывателя, себя как обывателя – вот смысл. И не надо смотреть на Гитлера как на злодея! Он хочет придать хоть какой-то смысл нашему пустому существованию».

– Ты – чех, – бледнея, сказала Маша, – а говоришь глупости. Кому это нужно? – говорила она. – Мир – тихая штука, жизнь не ворованная, кому это нужно – жить чужой жизнью?

Филип так глубоко задумался о Машиных словах, что мог и не заметить рослого большеголового мальчика в гимназической куртке, расстегнутой у горла. Брюки слишком заужены, но сидели на его фигуре ловко. Он знал, что мальчик гордится своей одеждой, шил её сам, и это ощущение первой независимости, хотя бы в умении скроить и сшить себе самому одежду, позволяло ему идти мимо Филипа Коваржа, мимо госпиталя, чужих солдат, заполнивших город, не задев, не заметив.

– Мальчик, – сказал по-чешски Филип. – Почему бы нам не остановиться, не поговорить друг с другом, ведь мы оба чехи, у нас одна родина, вас, – он даже в мыслях обращался к мальчику на вы, – присвоила Россия, меня Германия, но мы чехи, Чеховы, нас всех относит в сторону Праги, как лодку течением. А Прага есть, еще полгода назад я гулял по Праге. Умный город, такой же, как и вы, и все, что вы напишете позже, все сюжеты, характеры есть в Праге, не только в вашем экономическом городе.

Филип так и подумал – «экономический». Все в этом городе было деньгами и отсутствием принципов. Лишь бы ничего не меняли, давали работать и зарабатывать, пускать в оборот, затягивая в игру самих дающих, и в конце концов уцелеть, почти не прилагая усилия, почти не сопротивляясь, с поразительной настойчивостью не желая знать, что они рабы, и с того дня, как немцы вошли в город, не принадлежат самим себе.

Но попристальной, если удастся попристальной, было в нем что-то наплевательское, дерзкое, излишняя самоуверенность. Неизвестно, что он думал, глядя тебе в спину, неизвестно, что чувствовал, приглядываясь к тебе. Возможно, что и превосходство.

Это был очень самонадеянный город, позволявший другим поиграть в хозяев. Черт его знает, откуда берутся такие города, чья вера в себя беспредельна, а задираться не станут. Махнут головой, соглашаясь как бы.

– Да, пожалуйста, пожалуйста. Делаете так, пожалуйста. Пусть будет по-вашему. Вам же хуже.

И ты отходил, огорченный победой.

**...Сожженные подсолнухи на пути к городу, коричневые, застигнутые солнцем врасплох, и ничего в тебе, кроме вопля «Уцелел! Уцелел!»...**

Мальчику на все эти рассуждения Филипа было наплевать. Он нес крынку молока, немного отведя её в сторону, чтобы не испачкать собственноручно сшитый костюм. Даже непонятно было, думал ли он о чем-нибудь, кроме этого. Собирался ли когда-нибудь задуматься о том, что сказал Филип. Его просили отнести молоко маленькому племяннику и строго-настрого наказывали не расплескать ни капли. Вот он и шел, никого не видя, не встречая.

«Город принадлежит ему, – злорадно подумал Филип, приветствуя идущих навстречу офицеров. – Так-то, господа!»

Немцы отнеслись бы к его мыслям снисходительно. Мальчик давно существовал у них в ранге писателя, уважаемого самим фюрером. И местной типографии, издающей газету «Новое слово», было присвоено его имя. Ни один экспонат в домике, где он родился, не был тронут, и домику этому выдана охранная грамота. Немцы чувствовали какую-то особенную гордость, что он так легко и гостеприимно принимал их в этом городе. Они-то прекрасно понимали, чем город был обязан ему до их прихода, чех Филип был неправ, все принимал слишком восторженно, они же просто с почтением.

– О, Чехоф, – говорили они, что-то свое имея в виду. – Великолепно, великолепно!

Но в библиотеке Чехова особенно не брали, предпочитали другие книги, полегче.

– Много сердца, слишком много.

– Что поделаешь, славянская душа, – не выдержав, сказала библиотекарь.

– Но и европейская, почти арийская, не забывайте. Он предпочел умереть в Баденвей-лере, на немецкой земле, не у вас.

Ей хотелось возразить, что он скорее предпочел бы жить, чем умереть где-либо, но она помнила, с кем говорит.

В этом городе, где немцы пытались вести себя культурно, Филип и встретил Машу. Сначала он её не замечал, хотя она была повсюду: за дровами во дворе, в кустах, в сарае. Малахитовые пластиночки глаз.

Они смотрели на него из-за занавески, натянутой между стеной и шкафом, в щель ставен, ненадолго, когда он подходил к дому, и тут же исчезали. Темно-зеленые.

Это присутствие внушало какую-то приятную тревогу, оно ничем не угрожало, стоило только захотеть обнаружить, кому эти глаза принадлежат. Но он ничего не собирался менять. Он смотрел в них, как в море, радуясь любому живому движению в глубине. Но сослуживец, с которым они расположились квартировать вместе, думал иначе.

– Мы здесь не одни, Филип, – сказал он. – Вы обратили внимание, что кто-то рискнул поиграть с нами? По-моему, симпатичная. И уже не ребенок... Как думаете, сколько ей может быть лет? У местной хозяйки не спросишь, она – то ли мать, то ли тетка. Боится, наверное, что девочку угонят в Германию. Но мы не дадим, правда, капитан Коварж, мы оставим эту кошечку себе. У меня и в Германии была любимая кошечка! Что ж, до поры до времени постараемся её не замечать.

И Филип загрузил. Не потому, что намерения соседа показались ему отвратительны, война есть война, просто эти глаза вглядывались в Филипа с надеждой. Так ему, во всяком случае, казалось.

Он был незлой человек, этим вообще отличался от очень многих, не только в армии, здесь это было нетрудно, но и дома, еще до того, как Чехия стала протекторатом Германии, еще до того, как он вступил в партию «Фашистское национальное сообщество», размышляющую о Чехии для чехов, о великой Чехии, еще до того, как его мягкотелостью воспользовался друг и увел жену, а заодно и десятилетнюю дочь, Милену. Вот чего было особенно жалко! Милену никак не удавалось вернуть, и не только по нежеланию матери, а из-за какой-то странной инертности, заполученной дочкой от Филипа. Обстоятельства – это судьба, считала она, судьбе следует покориться. Она безучастно разглядывала отца при разных встречах, и не то что Филип, сам черт не догадался бы, о чем она думает.

Она и не думала, она терпеливо переживала время свиданий с отцом, чтобы потом уйти пережить жизнь с матерью и отчимом. Так же покорно она отнесется к первому попавшемуся субъекту, попросившему её руки. И не попросившего, просто, заметив эту странную покорность, овладевшего ею, чтобы потом помыкать. И ребенка она родит покорно, и о смерти отца не заплачет.

Удивительно! Если бы не мальчик в гимназической куртке, он никогда не попросился бы в армию Юга. Ему было все равно – Таганрог, Ялта, лишь бы рядом. И никогда



он так не желал победы немцам, как при взятии Таганрога. Город был нужен им для каких-то своих стратегических назначений, ему же – для прогулок. Пусть в сторону, но по тем же улицам, где гулял писатель, которого он упорно считал чехом, а кем другим мог быть человек с такой фамилией? Рассказы его он читал почти все, пьесы все видел, подробности биографии были ему известны, Ольга Чехова, племянница, была не только любимой актрисой самого фюрера, но и Филипа Коваржа тоже. Он чувствовал себя почти родственником.

Однажды, когда соседа не было, он вернулся из госпиталя, как всегда пытаясь почувствовать её взгляд из темноты, но ничего не почувствовал и, только когда зажег свет, обнаружил её сидящей с ногами на его постели у стены, обхватив колени. Прошло много времени, пока они молча разглядывали друг друга.

Она была так хороша, что, встретив её еще один раз при полном свете, он бы лица не запомнил. Так ему показалось. Оно не нуждалось в запоминании. Оно возникало по собственной прихоти и казалось таким, каким хотело.

Она сидела, глядя на него исподволь, и он никак не мог убедиться – такие ли уж малахитовые её глаза. Филип уже набрался смелости, чтобы спросить о чем-нибудь, как вбежала её мать, никакая не тетка, именно мать, схватила её за руку и поволокла к дверям, причитая:

– Забудьте, господин офицер, ишь чего выдумала, я тебя сейчас на улицу выброшу, вот тебя полицаи и сдадут в публичный дом, а постель я вам сейчас перестелю, господин офицер, ничего не подумайте, она девочка чистая, только напуганная, дурная, что молчишь, дрянь, проси прощения у господина офицера, он человек добрый, хоть бы тебя уже поскорее с глаз моих в Германию угнали, ну разве можно это терпеть в родном доме?

Филипу хотелось успокоить её, попросить замолчать, но для этого нужно было взять себя в руки, а это не удавалось, он только успел перехватить её взгляд у самых дверей и убедиться – малахитовые.

Соседу своему он ничего не сказал. Тот пришел поздно, чрезвычайно чем-то недовольный, что-то пытался рассказать о хлебозаводе, где проворовались местные, потребовал у хозяйки поесть, не доел, завалился спать.

Тогда-то ночью он и вспомнил о доме, в котором никто не хотел жить, о хозяйке, заговорившей по-немецки, когда офицер, расквартированный туда, в присутствии ординарцев стал ругаться, обнаружив в красивом со стороны улицы особняке грязь и запустение.

– Это частное владение, – сказала на его родном языке хозяйка дома. – Оно принадлежит мне, только мне. Я вас сюда, господин офицер, не приглашала. Как вы смеете приходите в чужой дом без приглашения и ругаться дурными словами?! Я преподаю немецкий язык уже много лет и могу вас уверить: в нем есть много прекрасных слов, но только не те, что вы сейчас произнесли. Но вам, наверное, ваши кажутся прекрасными. Тогда прошу вас, покиньте дом и ругайтесь на улице! А может, вам захочется меня расстрелять? Что ж, стреляйте прямо здесь, ничего не изменится, я не стану убирать для вас квартиру, даже если вы меня убьете!

Растерянный офицер долго извинялся, даже пытался поцеловать ей руку, извиняясь, но почему-то замешкался, прикоснувшись, и долго еще тер руку платком в прихожей, куда она не пошла его провожать.

– Великолепный немецкий у этой ведьмы, – сказал он ординарцу. – Великолепный! Несомненно, она немка. Но жить здесь нельзя. Никому! Надо попросить её анкету в магистрате. Что за странный город! Кого здесь только нет. Немка, ненавидящая чистоту и порядок. Невероятно!

**...Нет ничего, что я не могу изменить. Не было ничего, что я не мог бы изменить. Ничего не изменить...**

– Это хорошая женщина, – сказала Машина мама, когда на следующий день Филип поделился с ней своими планами. – Но зачем вам нужна Машка? Что вы задумали, господин офицер? Если что, я её в плавнях утоплю, чем отдам на поругание! Вы, наверное, подумали, что я вам её сама подсунула? Да, я её еще вчера убить хотела, а потом взглянула – какая же она у меня крохотка, и так на душе тревожно стало, легче самой в гроб лечь, чем увидеть, что с ней станется. Ей бояться надоело, она вам и открылась. У вас лицо хорошее, по-русски понимаете.

– Я чех, – сказал Филип. – А здесь я лечу людей в госпитале, я военный врач.

– Чех?! – закричала она. – О, господи! А я думала... Так вы чех? Машка проклятая, иди сюда, да иди, не бойся, он тебя уже видел, он чех, доктор, его пугаться не надо. То-то у него лицо другое, не такое строгое, надменное, наше лицо.

– А мундир? – спросила Маша из темноты.

– Какой мундир? – сказал Филип. – При чем здесь мой мундир, когда речь идет о вашей жизни?

– Слышишь, дура, – закричала мать. – Он не солдат, он доктор, он добрый.

– Он фашист, – сказала Маша, войдя в свет, падающий из окна. – Ведь этот мундир – фашистский?

– Да, – сказал Филип, сдерживаясь. – Я фашист. Но это не значит, что я не способен вам помочь.

– Слышишь, дочка!

– А зачем мне помогать? Вам меня жалко? С чего это вам, фашисту, и вдруг жалко? Что вы задумали?

– Послушайте, – сказал он, начиная испытывать невероятное раздражение. – Если я вас обидел, то давайте забудем этот разговор. Просто я не вижу другого способа помочь вам. А почему я хочу помочь, этого я и сам себе объяснить не могу. Больше, чем уйти к той женщине вместе с вами, я ничего не могу придумать. Если за вами придут сюда, вряд ли я сумею вас защитить.

– Но там же жить нельзя, – сказала Маша. – Я, еще когда девчонкой была, туда с заднего хода лазала, там помойка.

– А где не помойка? – спросил Филип неожиданно для себя. – У вас в душе, у меня в душе, у вашей мамы? Война! Только поняв – зачем она, можно избавиться от грязи, а так – страх, смерть, помойка. Я доктор, я знаю, у меня каждый день кто-то мрёт, кто-то выживает. Вас я зачем-то хочу спасти.

– Хорошо, – сказала она. – Но никогда, поклянитесь перед моей мамой, вы никогда не позволите себе прикоснуться ко мне.

– Что ты говоришь, – залепетала мать. – Ну конечно, господин доктор не прикоснется. Ты же слышала, он чех, он доктор. Он обещает, что все будет хорошо. Вы обещали, господин доктор.

– Соберите ваши вещи, – сказал Филип. – А я пойду в тот дом. Мне почему-то кажется, нам не откажут.

Он не внушал страха. Вот и все, чем отличался от остальных. Он мог нарушить это несходство, переступить черту, но почему-то не делал этого, оставаясь непонятым в своих намерениях, и она постепенно привыкла к такой неопределенности, считалась с нею. Это было уже много – не причинять боли, и даже казаться человеком, не будучи им, тоже много.

«С каким доверием ты смотришь на меня, будь проклята эта жизнь, разве я заслуживаю доверия? Разве это заслуга – быть лучше тех, кто рядом со мной, и лучше ли я? Кто знает, о чем они думают по ночам и что им не дают совершить днем. И разве они виноваты, что стреляют, а он лечит?»

Ему повезло. Он учился в Праге, не думая о войне, мечтая уехать куда-нибудь в провинцию, практиковать, превратиться в достойного обывателя. В фашистскую чешскую партию он пошел только потому, что не мог больше в Чехии чувствовать себя человеком второго ряда, даже у себя на родине чехи пытались поднять голову, а их лупили по этой голове – немцы, венгры, поляки, все, все кому не лень. И он хотел заявить громко, вместе с единомышленниками, что никогда не согласится с таким порядком.

Гитлер был ни при чем. Гитлер был ни при чем до тех пор, пока не придумал отколоть Судеты и покончить со всеми мечтами Филипа одним махом. Присоединенная к великому Рейху Чехия стала протекторатом и разделилась на Богемию и Моравию. Географически она снова не принадлежала ему, но морально он дал себе слово быть на равных с победителями, ни в чем не уступать, добиться, чтобы они нуждались в нем, Филипе Коварже, зависели от него, хотя бы как от врача, а война создала огромное поле деятельности. Она стала практикой боли, отчаянья, преодоления отчаянья и боли. Она подхватила тебя и завертела. Ты уже не нуждался ни в чьих советах. Ты путался, скрипел, вертелся вместе с войной. Ты жил не в норе, исходя злобой, ненавией оккупантов, ты был равным им, в некоторых обстоятельствах даже главнее.

И, в конце концов, война это всегда путешествие, Россия почти родина. Он хотел побывать в России и оказался здесь. Ничего плохого не сделал, не убивал, не расстреливал, спасал людей. Он ни на шаг не отступил от самого себя. Все, как мечтал отец: чех, доктор, солдат. Да здравствует великий Рейх от моря до моря!

«Я одинок, как колесо, даже когда оно в паре», – подумал Филип.

Он был в лавине и, даже догадываясь, что все когда-нибудь закончится, знал, что может не заметить смерти, умереть вместе со всеми, а это уже немало.

### **...когда-нибудь я выблюю собственный скелет...**

Запах квартиры-помойки был так невыносим, что Филипу еще в передней захотелось повернуться и уйти, пока он неожиданно для себя не понял, что долгая неизвестная тебе жизнь всегда отдает в конце вонью, и если ты взялся помочь Маше, то отвращение надо преодолеть. Смысл – вот что главное, появился хоть какой-то смысл, пусть малопонятный, с изъяном, но сердце забилося, сердце, Филип уже и не помнил, что оно есть, сердце человека второго сорта, а он понимал, что так его воспринимают немцы, смысл с заложенным внутри динамитом, какой-то неправильный, реакционный, никчемный, но зато собственный смысл.

– Уж не влюблены ли вы? – спросила старуха, и он вздрогнул. Статная, очень высокая, она старалась сидеть на расшатанном стуле прямо, но получалось чуть под углом. То ли пытаешься не свалиться самой, то ли ножке стула не дать подломиться. В грязной, заброшенной комнате она сидела как в роскошной зале, где-нибудь на Градчанах, заложив книгу, которую держала на коленях, указательным пальцем. Книга была увесистая, русская, судя по захватанному корешку, часто читанная. Она сидела, будто давала понять, что продолжит чтение, как только собеседник уйдет. Так сидят в королевской опочивальне, где в зеркалах отражается позолота старинных часов, а с потолка подмигивают фиолетовые херувимы.

– Уж не хотите ли вы превратить мой дом в притон? – уточнила она свой предыдущий вопрос.

Филип молчал. Он как-то освоился с её насмешливой манерой вести разговор. И потом, ему нравилось её разглядывать – куда лучше, чем прислушиваться к очередному запашку из глубины квартиры. Он молчал, ожидая, что она сама, возрастом своим и умом поймет его намерения. Он всегда рассчитывал на силу молчания. Ему было бы обидно получить отказ, и не просто отказ, а полный сарказма, ядовитый, облеченный в какую-то грациозную

старомодную форму. Пражские старухи тоже умели так отказать, чтобы человек ушел ошарашенный самой фигурой отказа, полным идиотом.

– Как вы думаете, почему так спокойно в городе? – неожиданно спросила она.

– Чехов, – немного подумав, ответил Филип.

– Чехов? При чем тут Чехов? Что немцы могут знать о Чехове?

– А что вы о нем знаете? Что о нем вообще можно знать?

– Ах, ах! – засмеялась она. – Начинается! Мистика в три листика! Ну конечно, вы же чех! Чехов! Я догадалась, да? И тоже доктор!

Теперь она смеялась неудержимо, до слез, до страха за себя, она забыла о своем умении так смеяться.

– Вы увалень, недотепа, а он был светский человек, фронт. Вы думаете, певец сумерек, затворник, чахоточный! А он учился танцевать у Блонди, я немного знакома с его семьей, кажется, их расстреляли ваши или они успели уехать, но куда им уезжать, они французы, вы лишили их отечества! Так вот, вся семья гордилась, что их дед учил Чехова танцевать. Я уж не знаю –годились ли ему эти танцы. Может быть, с этой кривлякой Книппер, как же я её не люблю, он и прошелся в мазурке на каком-нибудь губернском балу, да куда там, он уже еле стоял на ногах в то время, ему только и оставалось, что жениться на Художественном театре, да, да, я не оговорила, он женился на театре, не на этой женщине. Хотя всем нам здорово повезло, что она немка!

Филип вышел из дома старой дамы и растерялся. Ему предстояло идти по городу, брать Машины вещи, нести обратно. Он не был даже уверен, что вызовет солдат просить о помощи. Все сделает сам – сколько там у неё вещей?

Он будет идти, а все с любопытством оглядывать его мешковатую фигуру с чужим чемоданом в руках. Он будет идти, а люди смотреть ему вслед насмешливо, как незадачливому вору, потому что они сами профессионалы, а он был необучен.

В оккупированном городе, как в чужой квартире, все живут в ожидании прежнего хозяина. Он обязательно заявится, отберет все назад, и наконец-то начнется разрешенная жизнь, все будет раскручиваться вспять, в сторону их прежней жизни.

Даже сейчас Филип ощущал всю фальшь суеты их и своего пребывания здесь.

На грузовике везли прикрытую рогожей статую. Чугунная рука грозно торчала из кузова. Сопровождающие веселились, как бы приглашая к веселью случайных знакомых. А может быть, они посмеивались над ним, Филипом?

Он дождался, пока грузовик притормозит рядом, взялся за борт и подтянулся, чтобы рассмотреть. Это везли к парку полуприкрытую брезентом статую царя Петра. Его возвращали на прежнее место, в центр площади, где раньше стоял снесенный солдатами памятник Ленину. Но что забавно – среди сопровождения царя на скамейке сидел майор, по-видимому, главный здесь, маленький, рыжий, лысоватый. Он махнул рукой Филипу, как старому знакомому, ощерился от удовольствия и в ту же минуту стал удивительно похож на самого Ленина, чью фигуру разбили позавчера и вот везли водружать царя.

И оттого, что это внезапное сходство стало заметно только ему, Филипу, и ни с кем не было разделено, и оттого, что живой двойник вез мертвую статую, и оттого, что ничего не меняется в мире, стало хорошо на душе, и Филип помахал вслед грузовику, улыбаясь.

Становилось ясно, что делать. Сохранить девочку в кругу своего замысла. А то, что замысел был, какая-то система возникала, образовывалась, как у всех, в этом хорошо организованном городе, Филип не сомневался.

Он действовал правильно. И мальчик, когда-то родившийся здесь и все еще проживающий, конечно, смеялся над ним, стоя у раскрытой двери лавки на улице, но смеялся доброжелательно. Он никогда не видел Маши, а если бы и увидел, она могла ему не понравиться.

Ему нравились рослые плотные гимназистки, пролетавшие мимо него, как чайки, но намерение Филипа он одобрял. Они, эти намерения, обладали ясностью, а это мальчик любил больше всего на свете.

При всей инфантильности намерений они были продуманы сердцем, а значит, правильно. Мальчику захотелось сказать это Филипу, но кто-то, наверное, позвал его из глубины магазина.

И началась между ними долгая безмолвная борьба. Маруся оказалась чистёхой. Она прибиралась, с трудом находя тряпки, иногда водой, иногда слюной. Она носилась по комнате с первой минуты, как вошла, будто придумала этот план заранее.

– Нельзя жить в такой грязи, тетенька, – сказала Маруся. – Вы свою молодость погубили и мою погубите.

– Ишь как заговорила! – замахивалась на нее старуха. – Взгляните на неё. У неё, оказывается, есть молодость! Какая у тебя молодость, когда в городе чужие? Оставь зеркало в покое!

Но когда с боями был, наконец, оттерт один из овальных портретов, висящих на стене, подошла и, наклонив голову к плечу, сказала:

– Мой наихристианнейший отец! Чехова отец драл, но тот хотя бы мужчина, а здесь по делу, без дела на девочку руку поднимать!

– Вас разве в детстве лупили? – удивлялась Маша. – Что-то не похоже.

– Положи, гадина, тряпку, – сказала старуха. – И не прикасайся. Что я теперь с этим портретом делать буду? Его выбросить надо.

– Вот еще! – отвечала девочка. – Так я вам и дала! Таких красавцев выбрасывать, я его в свою комнату перевешу!

– Не тронь, дрянь, – кричала старуха и, вырвав портрет, возвращала на место.

Оставалось с надеждой смотреть на лампочку в абажуре, пока та мигнет и погаснет, в городе выключат свет, и в темной квартире Маше нечего будет делать. Но та научилась прибираться в темноте. Каждый раз, когда свет возвращали, старуха находила свою квартиру отброшенной в детство.

Старуха не хотела примириться, жгла тряпки в саду. Когда в ход пошли газеты, стала их тоже жечь, что показалось Филипу небезопасным.

– Пусть, – сказала старуха. – Как только ваша подопечная наведет порядок, они придут, чтобы взглянуть на себя в мои зеркала. Неужели неясно?

– Но почему, тетенька? – спрашивала Маша, устав от борьбы. – Ведь тошно.

– А разве на душе у меня лучше? А у тебя? В городе – чужие, ты себе не принадлежишь, с тобой можно делать что угодно. Да, тебе повезло с этим немолодым чехом, он заблудился, перепутал тебя с кем-то, возможно с собственной дочерью, если та у него есть, он не знает местных, ты все равно сделаешь по-своему, у вас просто не получается иначе. И когда он это поймет, будет поздно. Ты хоть одну книгу за жизнь прочла? – неожиданно высокомерно спрашивала она Машу.

– А вот и прочла, – верещала та, – а вот и прочла!

А что прочла, понятия не имела.

Возвращался Филип, хотелось жаловаться на хозяйку, но ей было стыдно жаловаться этому старому немцу, зачем-то решившему её спасти. Она сильно не доверяла Филипу, сколько раз он настигал на себе недоверчивый взгляд малахитовых глаз и в уголках рта презрительную ухмылочку.

Он не понимал – почему ни разу не попытался усадить её рядом и объясниться.

Что бы он сказал ей? Да, что бы он сказал, как объяснил необъяснимое, что она пропала, пропала с той самой минуты, когда в город вошли солдаты, что они только и ждут,

когда она выйдет из темноты, чтобы наброситься и загрызть. Она и не представляет, откуда ей знать, какой соблазн в безропотности, в покорности, в оккупации. Здесь жили не принадлежащие себе люди, их спасало только, что они не сопротивлялись, быстро согласились на новое положение, в их конформизме была мудрость, а может быть, и конформизма не было, просто осточертела прежняя власть, и они готовы были сменить её на что угодно.

– Неужели кому-то оккупант может показаться освободителем? – думал Филип. – Возможно, возможно. До чего же тогда надо было довести людей, чтобы они углядели в рабстве надежду?

Чем дальше шла война и он втягивался в неё, приходила уверенность, что жизнь не получилась, точнее, была неверно задумана, и не то чтобы ему было жалко русских, просто рушилась сама идея войны, такая огромная, такая масштабная, на самом деле она, оказывается, ничего не могла изменить в миропорядке, кроме локального уничтожения чьей-то частной жизни. Война – это укол в сердце, инъекция, оказавшаяся смертельной, люди умирают немного раньше, чем могли бы, а те, кто остаются, живут немного иначе, чем хотели бы. Он начинал разочаровываться в самой идее войны, и это ему не нравилось.

Просто врач, он никогда не стремился вернуться домой победителем, просто хотел убедиться, что можно спастись, выйти из этой передрыги живым и умудренным, правда, немного ожесточив характер, без чего трудно считать себя мужчиной.

Но вот явилась эта девушка, и все мягкое, аморфное, чем была наполнена его душа, снова вернулось, и тут требовалось начать другую войну – с самим собой, а это было невозможно без помощи той, первой, самой настоящей войны, так что получался заколдованный круг, где в центре стояла Маша.

Он был бы даже красив, если бы любой отблеск дня, попавший на его лицо, не уродовал его до безобразия. И зачем ему понадобилась плетка? Где он подначитался, что палач должен ходить с плеткой? Почему тогда не с топором? Или с плеткой пощеголеватей?

Есть что-то дерзкое в плетке, цирковое, стремительный взмах – и все.

Вот он и бродил вокруг дома, начальник полиции Стоянов, неизвестно по чьей наводке бродил, отвлекшись от насущных дел, бродил, бросая на дом косые взгляды. Даже псы притихли во дворах, стоило ему сделать два-три круга по тротуару.

Он хмурился, он негодовал, он жался, сам себя презирал, он не знал, с чего начать. Старуха была безжалостна, её боялись даже немцы, доктор и сам был что-то вроде немца, девушку легко можно было считать наложницей.

Так отчего же так неймется Стоянову, если он на виду у всех, до позора, беспомощно бродит вокруг дома, размахивая плеткой?

– У вас выходной? – спросила старая дама, когда от его хождения сделалось совсем невмоготу. – Или вас уволили?

– Кто уволит Стоянова? – попытался засмеяться Стоянов. – Где они еще такого дурака найдут? А вы, я слышал, теперь семьей живете?

– Семья моя – человечество, – сказала старуха. – Человечество и собственные мысли. Они вас не касаются. Прогуливайтесь в другом месте, а то примелькались до невозможного.

И Стоянов начинал уходить, мысленно посылая старуху к такой-то матери.

«И как её еще до сих пор наши не шлепнули, – думал он, не разбираясь, кого имеет в виду под «нашими» и когда – до войны или сейчас. – Ведь очевидно чужой человек, неизвестного направления мысли, неизвестного происхождения, откуда она взялась в городе?»

Он вспомнил, как она входила в море уже в феврале, в ночной рубаше, не стыдясь, а люди в пальто и плащах стояли вдоль набережной и смотрели, как она открывает в городе купальный сезон, и он, Стоянов, стоял, удивляясь смелости и необычайному мужеству этой гордой старухи. Так почему сейчас, облеченный властью, он позволяет себя гнать прочь

от дома, находящегося в его зоне, а не избьет её, размахивая плеткой, вымещая всю ту, за годы накопившуюся, злость, пока он был чужим в этом городе, со своей бедой – брошенный муж, отвергнутый отец, всего лишь зам главного бухгалтера на кожевенной фабрике? Тогда уже начиналась мода на экономистов как на будущих спецначальников. Рюмин был из бухгалтеров, и, кажется, сам Ежов. В чем-то правосудие и бухгалтерия совпадали. Пришло время больших цифр. Люди исчезали пачками. Надо было научиться считать.

Так что война началась гораздо раньше, и ни в чем он не виноват, что служит немцам, просто пришла его очередь служить.

Он гордился, что служит в городе, где родился великий писатель, у которого жена была немка и которого читал сам фюрер. Мысленно он чувствовал себя под защитой этого имени, не зря тот слыл великим гуманистом – а разве Стоянов не попадал под статью, которая требовала жалости и оправдания?

А то, что он старался, так и на кожзаводе старался, где бы ни служил, он просто был отменный и ответственный работник, привыкший к прежнему.

Где бы ни работал, любил висеть на доске почета и висел – что за пугающее слово, а как еще произнести? Если что, не дай бог, случится, немцы его не оставят, возьмут с собой, в любую сторону – свою, чужую. Он и сейчас не мог бы объяснить, что считает стороной. Плетка показалась ему бессмысленной, дом старухи исчез из виду, и он заткнул плетку за голенище.

Несказанно везло Маше, как и вообще везет всем, кто о спасении и не просит, его защищают сами.

Город жил в согласии с оккупантами. Мудро это было? Наверное. Согласие, покорность в самом существе человека, Филип был в этом уверен. Если мы уж вообще согласились жить, то лучше в гармонии, пусть самой простой, примитивной, но примиряющей с непокорной, провоцирующей на необдуманные поступки действительностью.

Там дома, в Праге, Филип потерял пса, тот взял и внезапно умер, в два года, на свой собачий страх и риск.

А до этого он лежал на подстилке и смотрел на дверь, в которую вышел Филип, весь день смотрел, в ожидании его возвращения. Он умер от рака лимф. Даже не будучи ветеринаром, нетрудно было определить, что он испытывает каждую минуту, как бурно развивается эта болезнь у молоденьких породистых псов и что скоро, совсем скоро из него потечет кровь, которую не остановить, и постоянная боль, которую не унять. Он даже глаза боялся поднять на Филипа, чтобы не огорчить.

Узнав о болезни, Филип попросил усыпить пса, а сам ушел из дома, чтобы, оставшись одному, представлять, как лежит его песик в раю и неотрывно смотрит на райские врата, в которые Филипа никто не пустит.

Да, жизнь, если учитывать подробности, складывалась не такая уж и веселая. Ушла жена, умер пес, все реже ему доверяли дочь, одно развлечение – война. Какое-то осмысленное масштабное развлечение, когда за тебя отвечают другие, думают другие, они же принимают решения, а ты стоишь за операционным столом, совершенствуясь в своем деле, и сокрушаешься, что не решился сам оперировать пса, чтобы взглянуть, где там с самого рождения пряталась его смерть.

Вытряхнуть смерть из пса и считать свою жизнь состоявшейся. Но пес все равно погиб бы, так или иначе. Он погибал много раз, он родился, чтобы умереть не вовремя, сначала, совсем крошечным, проглотил кость, и хозяйке, у которой Филип купил Швейка, пришлось с отчаянья всю пятерню запустить в его горло и вырвать кость.

У неё получилось. Эта история стала известна Филипу, когда он покупал у неё щенка. – Не хочет жить, паршивец, – сказала она. – Слишком умный. Вы с ним поостроже.

Потом, через полгода, он бросился в пруд, увидев так много воды впервые, и под тяжестью своей бульдожьей башки, не умея плавать, стал тонуть, чтобы быть спасенным каким-то посторонним храбрецом, успевшим раньше Филипа броситься в ледяную воду и выбросить его ногой на берег. Затем, немного позже, с ним случился солнечный удар, и это пережили, затем он стал жрать что ни попадя и часто лежал под капельницей, и вот теперь эта страшная болезнь.

Так что радоваться его собачьей радостью удавалось только в промежутках между этими попытками самоубийства. Он умер невинным, не успев вкусить близости, а хорошо это или плохо, Филип не знал и ответа дать не мог. Счастливей ли тот, кто вкусил, или это вообще отношения к делу не имеет? Для чего все это? Просто чтобы создать иллюзию счастья, решив, что ты дал его испытать себе подобному существу, а может быть, от груза, тяготившего душу? Инстинкты, рефлексy, сомнения, поступки, черт с ними, черт с ними, главное – война, в ответе за все она несет тебя и несет.

Война была обещана большая, пока не покорится целый мир, и это было правильно, чего начинаться по пустякам, и неважно – какие кто находил ей объяснения – фюрер или сам Филип, она была необходимостью, возникла не случайно, она несла смерть, но и мстила самоё смерти за любимого пса, за Швейка, что говорить, что говорить, надоело!

Он боялся взглянуть на Машино лицо, так и не запомнил. Каждый раз при встрече не узнавал, скорее догадывался, что это она.

Жили рядом, не обсуждая – зачем им такая жизнь, кто первым предложил, кто примирился.

Филип возвращался из города, уходил в ванную, долго мыл руки, чтобы сбить запах хлороформа, способного раздражить Марусю, затем уходил за дом в палисадник и смотрел на распутившиеся цветы, вспоминая их названия. Иногда ему казалось, что его затворничество, молчание еще больше способны напугать девочку, но она ни о чем с ним не говорила, вела себя независимо, то препиралась со старухой, то о чем-то шепталась с ней.

– Я возьму её с собой в театр, – сказала старуха. – Вы не против? Меня попросили обучать труппу немецкому языку. Я соглашусь, пожалуй. Вы разве в доме какую-то невероятную скуку, без вас ребенок поет, я ворчу, стоит вам прийти, вспоминаются какие-то домостроевские ужасы, оцепенение, вечный мертвый час, даже немцы веселятся на улице, один вы – неприкаянный. Вы всегда были таким или когда влюбились?

– Вы ошибаетесь, – сказал Филип. – Я ни в кого не влюблен. А что случится, если вы захотите посмотреть спектакль и будете возвращаться после комендантского часа?

– Выходит, вы и собственными распоряжениями не интересуетесь, – воскликнула старуха. – После комендантского можно ходить по городу, если у вас есть билет в театр. Да, да, опасаются, что без театра население одичает. Это не война, а какая-то просто разнузданная свобода, флорентийская республика, награда за хорошее поведение! Как думаете, чем такая лояльность обернется позже?

Филип только пожимал плечами, пусть идут, теперь он будет спокойней за Марусю.

Через какое-то время возвращались возбужденные, особенно Маруся, наверное, ей понравилось в театре и показалось, что она тоже может стать актрисой, старуха же возмущалась актерским невежеством, мелкой подлостью и главное – дешевым репертуаром.

– Что они играют! Нет, вы обязательно должны пойти с нами, чтобы убедиться, какой вкус у ваших соотечественников! Дешевые мелодрамы, оперетки. Они одновременно боятся испортить интеллект и солдат, и исполнителей. А когда это тарабарщина еще и переводится на немецкий!

– Нет, интересно, – возражала Маруся. – Я в кулисах сижу, там еще интересней, они хоть и по-немецки, а все понятно.



– Идиотка, – не выдерживала старуха. – Что понимать, когда нечего понимать? Ты хоть одну книгу прочла в моем доме, уйма книг, каждый день ты ухитряешься смахивать с корешков пыль, чистеха, а заглянуть и прочесть?

– Да ну их, – говорила Маруся. – Я боюсь.

– Вы слышали что-нибудь подобное? – обращалась старуха к Филипу. – Бояться знаний, бояться впечатлений, любви, наконец!

– Да ну вас, – отмахивалась Маруся. – Очень мне нужно!

И убежала.

– Девочка права, – говорил Филип. – Книги расшатывают воображение. В юности я читал много, ничего хорошего мне это не принесло.

– Да ну! Вы хотите сказать, что и Чехова прочитали напрасно?

– Может быть, и напрасно, – сказал Филип. – Его-то уж было совершенно не обязательно читать.

Мальчик начинал танцевать. Уроки танца он брал тайно от отца. Танцевал красиво, с необходимыми для танца спокойствием и степенностью. Он сдерживал танец, был излишне щепетилен, боясь пропустить хоть один такт, он вообще был щепетилен, как-то насмешливо щепетилен, потому что не задумывался, для чего ему нужен танец – для карьеры, покорения гимназисток в городском парке, для того, чтобы братья обзавидовались, просто так? Для чего нужны танцы, когда танцевать не с кем, да и не особенно хочется, да и расхотелось? А что еще делать в этом городе, способном свести тебя с ума, как не танцевать?

Степенно, в одиночестве, под восторженные взгляды старого учителя Блонди, застрявшего в городе со всем семейством десять лет назад. Он отдавал учителю полтинник, пожимал протянутую ладонь и удалялся...

**...Жизни осталось на копейку. Не веришь мне – поговори с родителями, они давно умерли...**

Взрыв со стороны кожевенной фабрики заставил горожан вздрогнуть.

О чем они подумали в этот момент, вот что важно, они все, и Маруся, конечно. Неужели они подумали, что это неожиданное вторжение своих, советских, а немцы расслабились и, несомненно, проиграют. А может быть, посчитали приветом с той далекой другой стороны, куда отступила Красная Армия? Как они подумали, как услышали, и Маруся, конечно, что это – зов освобождения или угроза для их новой, как-то сложившейся в этих обстоятельствах жизни? Что они боялись потерять, что вернуть?

Успело хоть что-нибудь стать им дорого за этот год оккупации? И можно ли от них требовать добровольного признания новой власти? За что карать, в чем винить? Что ждет девочку, если в город вернутся русские? Кого она назовет своим женихом, героем, а он, возможно, уже ползет по степи с автоматом, больше всего боясь быть обнаруженным и застреленным. Сколько лет этому жениху? И какие награды принесет он с войны в дар его, Филиповой, Марусе? Что даст взамен её маленького дерзкого тела и малахитовых глаз?

Филип пытался заставить себя его ненавидеть, не получалось. Мало того, он понимал эту тягу возвращения, желание быть любимым девушкой, спасенной Филипом.

И никаких слов благодарности. Они забудут о нем сразу, как встретятся. Он спросит и тут же потеряет вопрос, а она все сделает, чтобы вопрос не повторился.

Тогда при чем здесь Филип и его временная победа? Все вообще при чем? С чем отступать, как жить? Бессмысленно, бессмысленно.

Но сейчас нужно было спешить на кожевенную фабрику, пришел вестовой, требовалось освидетельствовать, решить, можно ли транспортировать в госпиталь раненого

при взрыве котла немецкого солдата или оставить его умирать. Никаких других потерь, кажется, не было, русские не вошли в город, свадьба Маруси откладывается.

Кожевенная фабрика встретила Филипа таким зловонием, о котором хозяйка его квартиры могла только мечтать. Перламутровые лужи, издающие этот запах, стояли на всем пути к месту происшествия.

Вдоль стен были развешаны куски свежесваренной кожи с такими изодранными краями, что, казалось, стадо обезумевших животных само помогало рвать с себя кожу, только чтобы не быть зарезанными, вырваться в степь.

Запах фабрики, как гниющая рана, даже хуже. Солдата везти было незачем, Филип не успел, он лежал недалеко от воронки, образованной взрывом котла, и даже не притворялся живым, у тела стояли два офицера и недоброжелательно поглядывали в сторону жмущихся к стене рабочих. Здесь же бродил Стоянов, побаиваясь вытянуть плетку из-за голенища, взволнованно крутились полицаи. За все годы оккупации это была, пожалуй, самая большая неприятность.

– Да, он погиб, доктор, – сказал Штаубе, знакомый Филипу штабист. – Геройски погиб при выполнении обязанностей. Как видите, все остальные почему-то остались живы, а он погиб.

И Штаубе с отвращением посмотрел на рабочих.

– Честно говоря, – сказал он, – я сомневаюсь, чтобы это была диверсия, котел старый, работа идет, не останавливаясь, он просто перегрелся и лопнул. Но простить им просто так смерть немецкого солдата я не могу. Стоянов, – позвал он тут же подбежавшего Стоянова. – Объясните им, как умеете, их вину в смерти честного немецкого солдата и примените форму наказания, какую вздумаете, любую, кроме расстрела, рабочие они хорошие, но на их глазах погиб немец, а это плохо, это разжигает воображение, дурные мысли!

– Да я им дам в морду, господин офицер, – не выдержал Стоянов. – Они у меня юшкой зенки собственные зальют, им не только покойника, света божьего видеть не захочется.

– Очень образно, – брезгливо сказал Штаубе. – Приблизительно так вы пишете в своей газете, это неправильно, вас никто поэтом не назначал, вы всего лишь начальник полиции, и не забывайте, оба ваши предшественника расстреляны, вы пока живы. Пусть ваши люди аккуратно возьмут ефрейтора, завернут в один из кусков этой дряни, – он кивнул в сторону кож, – и отнесут к грузовику. Мы отвезем его в больничный морг. Если хотите, доктор, мы вас подбросим.

– Я привык сам, – сказал Филип. – Жаль, что все так произошло.

– А, халатность, спешка, мы сами виноваты, нельзя доверять советскому оборудованию, всю эксплуатируя предприятие. И вот – потеряли своего человека. Это нам урок, мы слишком расслабились. Как ваши дела, доктор? – неожиданно спросил он, улыбаясь. – Я имею в виду амурные.

– Не понимаю, – сказал Филип. – Вы заблуждаетесь, никаких амурных дел я не веду.

– Ну ладно, ладно, не ведете, так не ведете, а в клуб почему-то не приходите, забыли нас. И работы, кажется, немного, наши говорили, что девочка очень хорошая.

– Мне неприятен этот разговор, – сказал Филип. – Я бы не хотел...

– И не буду, не буду! Сколько нам еще осталось праздничать, скоро на фронт. Здешние девушки очень красивы, вы молодец.

У Филипа заболела голова, когда он увидел, что к их беседе прислушиваются полицаи. Те, кто знал, о чем речь, откровенно улыбались, глядя на него.

– Что, кажется, попало, доктор? – ехидно спросил Стоянов. – Наши девушки до добра не доводят. Такие...

Филип оттолкнул его и пошел мимо ободранных шкур.

– Но-но, пусть регистрируется, – кричал ему вслед Стоянов.

Море не спасло его, хотя он шел по набережной и смотрел на море. Море было узкое, как строчка, написанная чужой рукой. Слова корявые, как почерк. Оно приближалось как-то боком, стыдясь открыться. Зыбь. Не прочитать. И вообще, это было не море, что-то ощерившееся, неспособное дать ответ, желтое, шуршащее. Где его дыхание, куда оно прячет дыхание от тебя? Что ей нужно, этой воде, не напоминающей море?

Мелкое, желтое, малодушное, не в силах вмешаться, такого моря он не признавал.

А может быть, оно издыхало, как его пес, как его Швейк в минуту укола. А может быть, оно возвращалось, чтобы сказать тебе «Спаси»?

Мир надо было спасать, хотя он этого не стоил. Но для этого необходимы умения, которых у Филипа Коваржа не было, мир надо было спасать, как самого себя от таких же, как ты сам.

Он был обнаружен. Его позволял себе рассматривать кто угодно, со всех сторон, но, главное, подставил её, не спрятал, а именно подставил, выставил на посмешище. Каждый мог говорить о ней что вздумает. А что может вздуматься этому городу, уже три столетия переосуждавшему соседей? Что хорошего они могли найти в чужой жизни, не зная ничего, кроме подлой своей. Тут главное не понестись, не ответить на их зов любопытства. Но сумеет ли это Маруся, не поддастся ли она первому желанию бежать, посчитав, что он её опозорил?

Мальчишки неслись мимо него какие-то бездомные, ничьи, в застиранных маечках, с отчаянно смелыми лицами, местные. Они опережали один другого и еще долго бежали вдале по мелкой издыхающей воде.

Наверное, и тот бежал когда-то, раздавая подзатыльники братьям, шлепая по воде, желая вспенить большую волну и нырнуть в нее.

Но волна была далеко, а он все еще бежал, не оглядываясь на Филипа Коваржа, опережая других, чуть-чуть задыхаясь, счастливый.

Как легко думать о прошлом, как легко считать, что кому-то было лучше, чем тебе, как хорошо желать прошлому счастья.

В госпитале его ждал больной, которому предстояло ампутировать руку. Гангрена. Два дня он сопротивлялся операции.

– Хорошо, – сказал он в этот раз, перехватив Филипа в коридоре. – Значит, вы говорите, кисть?

– Нет, голубчик, – сказал Филип. – Это вчера была кисть, а сегодня до локтя.

– Как до локтя? Что вы говорите? Я солдат. Кому я буду нужен? Меня отправят домой. Кому я нужен дома калекой?

– Я хочу сохранить вас живым, – сказал Филип.

– Какая жизнь без руки, что вы несете? Где я найду нормальную красивую немку, согласную меня обнять? Вам небось это не грозит, вот вы какой крепкий, не нужно думать о чужих объятиях, любая пастушка отзовется, только свистните.

– Зачем вы так, – сказал Коварж. – Я не ищу любви.

– Да ну! Давайте тогда меняться, вы мне свою здоровую, я вам вот эту...

И он вскинул к лицу Коваржа туго перепеленатую руку, лицо его перекошилось от злости, сколько раз видел Коварж такие лица, в которых не вмещается злость.

– Любить надо, доктор, – сказал он. – И тебя чтобы любили. Тогда и умирать не страшно. Не притворяйтесь, что не знаете. Мне много про вас понарасказывали. Вы молодчик.

Нет, так нельзя, так нельзя, если бы он демонстрировал её как свою игрушку, над этим бы посмеялись, даже одобрили, но делать из такого пустяка тайну – это оскорбить армию. Что тебе тогда – «еще до локтя» с такими странными привычками?

Жить обособленно, с несовершеннолетней, не подпускать к ней стражей порядка, вынести за скобки общих правил – это даже немцу не позволялось. Да немцу такое и в голову не придет, на виду у всего города. Он же – чех, а что это такое, никто не объяснит, так же, как трудно объяснить, чем отравился человек, пока он не выблюет содержимое своего желудка. Вот и весь чех, Чехов, видите ли.

Он шел к себе на новую квартиру, находящуюся совсем недалеко от прежней, Машинной, шел, будто совершал таинственный неопределенный маневр, способный привести его как к победе, так и к поражению. Он шел, не понимая, кто отдал ему приказ совершить этот маневр, или сам он так распорядился собой, но на это тоже надо иметь право – разве звон, раздающийся в душе при одном только воспоминании о Маше, может быть правом? Разве он не солдат, подчиняющийся приказу извне, а не толчкам своего сердца, какую цель он преследует? Зачем бредет к молоденькой по завоеванному городу, и каждый встреченный имеет право потрепать его по плечу?

– Вы далеко собрались, Коварж, неужели я вам так успел надоесть или какая-то особая причина?

Сосед по прежней квартире укоризненно смотрел на него.

– Хозяйка словно язык проглотила от страха, когда я спросил, почему в доме такая тишина и куда делась таинственная штучка, волнующая наше с вами воображение. Молчит. Куда вы все-таки намылились, доктор?

Филип смутился, отвечал что-то неопределенно, мол, по роду занятий решил жить один, не обременять собой занятого человека, ничего в его поведении занимательного быть не может, несомненно, найдется более интересный сосед, если вообще не захочется пожить одному.

– А мне вовсе не было скучно, доктор, – засмеялся сосед. – Разве с вами может быть скучно?

В общем, с трудом удалось отвертеться, избежать разговоров о Маше, но все-таки горечь публичности, ощущение вседозволенности по отношению к себе не покидали.

### **...Если вырвать меня из этого ада, не уверен, останусь ли я в живых...**

– Никогда, – сказал Филип. – Театр – это такой же маленький публичный дом. И потом, надо иметь талант!

– Меня обучат, – сказала Маша. – Меня обучат, и я смогу не бояться.

«О чем она? – подумал Коварж. – Только что я прятал её от Германии, а теперь она хочет выставиться перед немецкими солдатами только для того, чтобы они обратили внимание на её миловидность. Дура она, что ли? Стоять на сцене перед своими врагами и петь фальшиво? Так что же тогда оккупация, перемена жизни? Что же тогда катастрофы – когда люди примирены с ними уже заранее? Или, пока живешь, катастроф не существует? Живешь, и все».

В глупую докторскую голову Филипа не входили ответы на эти вопросы. Все казалось дикостью, непостижимой для неудавшегося фашиста Филипа Коваржа, влюбленного в Чехова.

Это было его неправильным пониманием жизни, происходящих событий, несомненно, с самого начала, с детства, когда все казалось романтическим, не вникая, и можно было жить доверием к другим людям, его впечатлением от них.

– Не переживайте, Коварж, – сказал мальчик. – Таких, как вы, – большинство, люди всегда ошибаются, но вы хотя бы ошибаетесь сердцем. Успокаивайте себя тем, что вы ошибаетесь сердцем.

И Коварж затих, и сердцебиение вернулось к нормальному ритму.

И взглянув на эту шестнадцатилетнюю русскую, он сказал: «Вы вольны делать что угодно, Маша, я вам не отец, я только оккупант, солдат, способный вас спрятать и защитить от таких же, как я. Вы имеете право не доверять мне, как и всем остальным, вошедшим в город».

Он не помнил – успел ли открыть рот и произнести все это, как она смутилась, даже испугалась немножко, протянула руку и дернула его за рукав.

– Да что вы так переживаете, дяденька, – сказала она. – Вы больше моей мамы переживаете, ни в какой театр я не пойду, я же ничего не умею, это я пошутила.

И от неожиданности её слов, показавшихся чеху теплыми, он заплакал, впервые Маша доверяла ему, – а что еще было нужно, кроме доверия этой прелестной, оставшейся без защиты девочки, что еще было нужно от этой красоты, предоставленной себе самой в этом мире?

Не могла же она понять, что жизнь каждого человека кончается, не начавшись. И только любовь оставляет надежду на жизнь.

Но откуда ей знать, когда она не жила совсем, а пришли солдаты, и все пошло вверх тормашками.

Били колокола. Звонили к обедне. Обедню никто не отменял.

Сейчас мальчик будет петь в церковном хоре, петь прилежно, как учил его отец, обращаясь то ли к Богу, то ли к собственной душе. Потом это будет казаться ему сновидениями. Он будет петь. Никто не узнает его тайны. Никто не поймет покорности, с которой он поет, и на самом ли деле надо петь старательно в церковном хоре или просто подчинившись отцу?

Узнать – все равно что разгадать его молчание, а кто сумел это молчание разгадать. Слова не ответили ни на один вопрос, они были жизнью, правдой жизни, но не его правдой о ней.

Правду можно не знать, правду лучше не знать, но можно научиться складывать слова в картину, чтобы каждый искал в них свою правду и, добравшись до точки в конце, испытал удовлетворение. Вот чудак! Какая в словах правда? И что можно найти в картине слов, кроме знаков препинания?

– Спасибо, – сказал Филип девочке. – Мне кажется, вы поступили правильно. Ваш отец мог бы быть вами доволен.

– Мой отец был пьяница, – сказала она. – А вы хороший человек, вы лучше моего отца.

Ему захотелось обнять её, но он решил, что понято это может быть иначе, да и что, в самом деле, содержит в себе желание пожилого мужчины обнять юную девушку? Что означает этот жест, ведущий к смерти, к гибели? Что означает это стремление, кроме желания войти в неё, забыться, укрыться как в маленьком, но очень уютном домике, рассчитанном на века? И где уверенность, что этот домик строился для него, что эти глаза принадлежат ему, кто дал право считать, что он, старый, чужой, пришедший из сердца Европы, из далекой страны, оккупант, чужестранец, способен доставить радость этому внезапно обнаруженному, новому для него виду растений?

Он никому не был способен доставить радость дома, что же вздумалось здесь, на чужой земле, где непонятно все, где нет ни одного родного человека, кроме мальчика.

– Ваше дело, – сказал он. – В конце концов, это ваше дело, Маша, как жить среди врагов.

И он ушел, оставив её со старухой размышлять о будущем.

– Какой странный субъект, – сказала старуха вслед. – Безусловно, он влюблен в тебя, но как-то обреченно, мне с тобой весело, я не вижу ничего в тебе, что могло бы вызвать страдание.

– Сама не знаю, – сказала Маша. – Может, вспоминает кого. Знаете, как бывает, живешь, живешь, а все это в жизни твоей будто уже и было.

Ко дню рождения Гитлера Стоянов зачем-то велел уничтожить всех голубей в городе, а город славился голубятнями. Они находились в каждом из дворов, были предметом обмена, зависти, разговоров. Они стали еще одной валютой, за них можно было получить все.

И вот они гуляли по дворам, как монетки, пересыпаемые из кошелька в кошелек. Город наполнился голубиным звоном, под него вздрагивали по ночам, просыпались, никто не знал, что вздумается голубям, им разрешали все.

Но к великому празднику по каким-то своим соображениям Стоянов издал непонятный приказ. Трудно было не выполнить, он сам или его люди ходили и проверяли по дворам.

Мальчишки отворачивались при виде Стоянова, они не могли простить.

– Стратегия, – туманно объясняли старики. – Почтовые – те вообще переносчики...

– Ну, и велел бы избить почтовых, остальные при чем?

Может быть, Стоянов ненавидел голубей, может быть, его обманули при обмене, никто не помнил, был ли начальник полиции до войны голубятником!

– Гадят, – сказал кто-то. – Вот и велели убрать.

– Сам он говнюк, – подвел черту неизвестный смельчак.

Так что Гитлер оказался причастным к избиению невинных птиц, других грехов за ним не водилось.

Хлопанье крыльев заполнило дворы, сильные удары маленьких тел о землю, их убивали палками, а кто-то наловчился из рогатки, стреляли сквозь сетки и попадали.

Опираясь на поверженные крылья, выставив грудку небу, голуби лежали на земле как свидетельство лояльности горожан.

Это событие чуть-чуть отвлекло от праздника, отметить день рождения готовились пышно.

– Я Маньку нашла! Вот вы её куда запрятали, вы молодец, сообразили!

Неизвестная девушка сидела за столом, опираясь в Машу плечом, то ли от смущения, то ли призывая посмеяться, соски груди под тонкими рюшиками платья были направлены в сторону Филипа Коваржа. Мизинец другой свободной руки она держала оттопыренным, будто боялась обжечься, хотя чашка чая была ею уже отставлена.

Хозяйка сидела тут же, смотрела неодобрительно, но не вмешивалась. Не обращая внимания на стоящего посреди комнаты Филипа, гостя что-то шептала совершенно смущенной Маше, подталкивая ту, пощекотывая, потом спросила:

– А меня спрятать не возьметесь? За мной уже давно полицаи охотятся: отметься да отметься, либо в Германию, либо в публичный дом. Как считаете, что лучше, что посоветуете?

Филип Коварж растерянно посмотрел на старуху. Та сидела, прикрыв глаза.

– Я не знаю, – сказал Коварж. – Все – беда.

– А что лучше, нет, правда, что лучше, дома оставаться или чужие края повидать? У вас там и замуж выйти можно. Заграница! Работы я не боюсь. А здесь – что? Опозорят, да еще и болезнью наградят. У нас шестьсот девок в проститутки согласились. А мне что-то не хочется, вы бы меня спрятали, я как Маша буду.

– Я никого не прячу, – сказал Коварж. – Мне бы этого и не простили. Просто беда почему-то обходит нас стороной.

– Так спрячьте и меня, дяденька, Машка, попроси, вы смешной, вас не тронут, докторов не трогают, их уважают. А сколько денег получаете, много?

– Я служу в армии, – сказал Филип. – У меня воинская зарплата. Лечить – моя обязанность.

– А я думала, вы богатый, я думала, Манька устроилась, весь век обеспечена будет, ведь вы надолго, навсегда, да?

– Нам некуда тебя взять, Катя, – сказала старуха. – Доктор тут ни при чем. Это мой дом, я сама решаю, кому в нем жить. Маши мне вполне достаточно.

– Я вас понимаю, – сказала Катя. – А мне помирать, да? Мне – в проститутки? Машка, скажи! Вот они как весело живут, по Пятницкой пройдите, на подоконниках сидят, семечки лужагут. Может, все-таки возьмете, дяденька, вам ничего не будет.

Филип смотрел на девушек невидящим взглядом, в упор, боясь пошевелиться, совершенно непохожие, с какого-то момента они начали казаться ему близнецами, он не мог сейчас объяснить – почему предпочел одной другую, чем та хуже?

Это было какое-то совершенно ненужное испытание. Все вдруг превратилось в полную чепуху – действительно, почему та, а не другая? Это же не море, где в бурю можно было бы спасти только одну, здесь можно всех, почему же тогда он всему на свете предпочитал спасти именно эту девочку, малахитовые глаза. У этой несчастной тоже хорошие глаза. Голубые.

– Дяденька, – сказала Маша. – А может, мы и в самом деле Катьку спрячем, вдвоем веселей будет.

– Ты лучше дома сиди, Катя, – сказала старуха. – Я к тебе с Машей как-нибудь зайду. Постарайся немцам на глаза не попадаться, а господина доктора тревожить не надо, он человек добрый, но не беспредельно, он солдат.

– Ну да, ну да, – вдруг разволновалась Катя. – Не обижайтесь, пожалуйста, это все Манька шептала: попроси да попроси, – она у нас шутница, вдруг не откажут, а так я понимаю, мало ли что подумать могут – вот сколько девок в один дом набилось, вас еще за нас и расстреляют...

– Ну, что же делать, – сказала она. – У вас тут хорошо, портреты висят. Чистенько. Вы, конечно, не молодой, но для первого раза неплохо, если вы, конечно, и в самом деле на этой дуре женитесь.

– Сама ты дура, – крикнула Маша. – Сама! Говоришь чего не знаешь!

– А вот и знаю, вот и знаю, ты красивей меня, хоть и коротышка, у тебя глаза красивей, тебе и в школе больше меня везло, все мальчишки влюблены были, а что в тебе хорошего, ума много, а грудь маленькая, почти вообще нет. Ошиблись вы, доктор, ошиблись, со мной время коротать приятней было бы!

Не дожидаясь, как разберется с этой ситуацией хозяйка, Филип неловко попрощался и ушел, не чувствуя под собой ног, в другую комнату. Надо было спешить на площадь, где уже собрались для марша войска в день рождения фюрера, надеть парадный мундир, но силы куда-то ушли. Он слышал, как старуха, чертыхаясь, гнала из дома Катю, как Маша тонко и жалобно кричала, заступаясь, а потом наступила тишина, и в ней – Филип Коварж, без кителя, в подтяжках, босой, не способный взглянуть на свое отражение в зеркале.

Больше всего он боялся, что Маша придет к нему объясняться, но он слишком хорошо думал о ней. Ни стыда, ни тонкости попросить у него прощения за этот неожиданный визит у неё, конечно, не возникало, ни мысли – каково ему сейчас.

«Как же она забрала мою жизнь, заставляя ежеминутно думать о себе. Наваждение, это наваждение! Не может взрослый человек, офицер, врач, солдат победоносной армии быть в плену у глупой неразвитой девчонки из побежденной страны». Тем самым он сдавал свои права победителя, становясь поработанным. Да, он поработан этими нелепыми бредовыми мыслями, этим страхом за нее, почти физиологическим, потому что ничего другого, никаких других желаний в нем не было. Или почти не было.

Город без голубинового помета выглядел еще прекрасней. Пахло подсолнухами и солнцем. Никто не мешал параду, не надо было ни обходить, ни топтать, ни бояться следов на мундирах.

Солдаты шли весело, засиделись, шли в марше, как учили их шагать до войны, нога от бедра, высоко и с прицелом, будто переступаешь через угодившую под нее жертву, не сги-

бая в колене, оставляя жертву лежать, как препятствие, через которое за тобой переступит другой, идущий следом, а за ним и другие, другие...

Шеренги как бы взлетали на мгновение в воздух, переступая, и, хотя это было очень знакомо, Филип не без удовольствия вспомнил, как увидел их первый раз впервые на Вацлавской площади, шагавших сквозь его любимый город, внезапно ставший немецким. Но он был фашист и не боялся перемен, он верил в лучшее, в его зрачке преломилось пражское солнце, перекачивалась под мостами Влтава, били часы на ратуше, ворковали голуби у ног, все-таки Стоянов – дегенерат, пошли дурака Богу молиться.

Здесь в городе, как тогда в Праге, всю заработали торговые ряды, в них не торговали, а раздавали подарки новой власти. Щедрые по тем временам подарки: и мед, и гвозди, и рушники, и даже керосин в маленьких баночках, столь необходимый для нужд армии в военное время.

Но, вероятно, боев в ближайшее время не предвиделось, потому не жалко было раздать. Готовить на примусе куда привычней и легче, чем возиться с печкой, особенно в теплое время. Еще керосином можно вымыть волосы, если заведутся вши, хотя в этом городе подобные насекомые не предвиделись. В торговых рядах после парада солдаты вели себя куда вольней, чем в другие дни. Они приходили в обнимку с местными красавицами, обмениваясь комплиментами, как же, парад все-таки, заслужили, угощали их вином, которое раздавалось тут же на площади, пили за здоровье фюрера, закусывая пирожками с капустой, а затем шли к высокой эстраде, на которой корячилась знаменитая в городе эстрадная группа «Бунте-Бюле» с тощей солисткой в обтягивающем скелет вязаном платье, которую солдаты называли селедкой.

– Геринг, – кричали они, что по-немецки означает именно селедка, – Геринг, повертись задом, покажи, какой он у тебя тощий.

Какая-то девушка в очках не очень ловко по-немецки уговаривала солдат культурно провести время, пойти на экскурсию по чеховским местам, на это соглашались немногие, в такой день надо было думать о фюрере, не о Чехове, но Филип видел, что несколько офицеров собрались вокруг экскурсовода и вступили с ней в довольно содержательную беседу о маршрутах экскурсии.

Что тут было узнавать, расспрашивать? Каждый сантиметр принадлежал мальчику, каждый глоток воздуха, каждый взгляд, перехваченный морем, принадлежал ему, каждое движение старых лип в парке.

Вопрос только – любил ли он праздники и что находил в них приятное.

Вырваться на улицу, идти по улицам, встречать знакомых, виденных только вчера, но в день праздника всегда новых, искать подруг среди незнакомых девушек, облюбовать одну из них, мысленно назначить встречу и следить, как она уходит от тебя в толпе, с двух сторон придавленная родителями, не оглянуться, а на уровне твоих бедер – светящиеся жучки прелестных детских глаз, жучки растерянные, не способные разобраться в собственной радости, радующихся невесте чему или ревущих.

Группки стояли на углах, болтали, смеялись, еще бы – фюрер родился, хотя он, кажется, еще и не родился тогда, глупости.

В актовом зале гимназии прекрасная экспозиция, посвященная жизни фюрера, здесь стояли как в церкви, благоговейно, а потом двигались от фотографии к фотографии, и только слышались приглушенные голоса солдат, объясняющих своим гостям, что на фотографиях изображено, какой момент бурной великой жизни. Местные кивали головами, соглашаясь, но скорее присматривались, чем выражали восторг, по привычке не верить сразу, обсудить все, вернувшись домой.

Потом солдаты расходились по гимназическим коридорам, где чувствовали себя свободней, сравнивая чеховскую гимназию со своими, покинутыми еще до войны, там, в Гер-



мании, и удивлялись разумной планировке, высоким окнам, воздуху в классе, акустике, не сомневаясь, что все это не обошлось без приглашения немецких архитекторов.

Портреты бывших наставников гимназии, как и членов императорской фамилии, были сняты и водружен портрет Гитлера. Правда, портрет знакомый, по открыткам, книгам, официальный, хотя нашелся местный художник, предложивший вывесить написанный им портрет, значительный и вполне похожий, но власти сочли это чем-то смахивающим на фамильярность. Писать фюрера могли только те художники, которым он доверял. Взвесив все за и против, портрет у художника купили, щедро заплатив, но вывешивать отказались. Портрет остался в сейфе гестапо как вещественное доказательство полной преданности интеллигенции города новой власти. Незадачливый автор портрета стоял тут же в углу авторского зала и почему-то ревниво следил, как относятся посетители к портрету, написанному не им.

Особый восторг вызывал гимназический карцер, куда ссылали за проступки провинившихся учеников. В него заходили по одному, садились за стол и корчили рожи в маленькое окно тем, кто глядел на них из коридора, а те, отталкивая друг друга, фотографировали сидящих.

Филип тоже посмотрел в окошечко и представил себе гимназиста, корчащего рожу оккупантам.

**...Предстояло спасать, спасать, спасать, крушить, крушить, крушить. И залечивать раны...**

Снег хрустел под ногами, как битое стекло. Филип шел к дому по собственным следам, они застывали с утра, казалось, навечно.

«Еще одной зимы, – думал Филип, – мы не переживем». Город жил своей обычной жизнью, работали школы, библиотеки, детские сады, театры, кинотеатры, выходила газета, пусть не всегда добросовестно освещающая события, но на хорошей бумаге.

В библиотеке можно было взять Чехова и почитать. Страх заключался только в том, что много людей на улицах говорили по-немецки и ходили в солдатской форме, страх заключался в том, что жизнь проходила в ожидании. В ожидании чего? На это и Филип Коварж не мог ответить.

Когда она подошла к нему вчера и попросила поднять сзади змейку на платье, голова у него закружилась. Он сделал это послушно, глядя, как исчезает под крыльями материи маленькое гладкое тело, понимая, что она делает это нарочно.

– Вы куда-то уходите, Маша? – хотел спросить Филип, но не успел, она недовольно боднула головой воздух и ушла – в другую комнату вертлявой, независимой походкой.

Каждое движение она перечеркивала следующим, и это длилось уже давно, тревожа Филипа.

Он понимал, что, запирая её в этом доме, лишая мира, заставляет думать обо всем сразу – она растет, он забыл, что не только его благородный поступок растет, разбухая от добротели, но зреют силы в этой шестнадцатилетней девушке, которые надо куда-то деть.

Но не с ним же их делить, не с ним, жалким чехом, врачом, оккупантом, не с ним, от которого зависела ее жизнь, способным выгнать её из дома, из города, даже из жизни в любую минуту.

И потом – он не любил её, он не мог заставить себя полюбить, потому что это было бессмысленно и ничего не решало. Он не любил, он просто не мог без неё жить.

**...рассказ липнет ко мне – к пальцам, гортани, языку, нёбу, я хотел бы войти в тебя и придать ему форму...**

Она крутилась, крутилась где-то в глубине квартиры, что-то расплескивая, на что-то наталкиваясь, чем-то шурша, а он знал, что это для него, что он не выдержит, бросится за ней.

«Это слишком легко, – думал Коварж. – Это слишком легко – овладеть тем, кому некуда деться».

Лунный свет через всю комнату из окна к двери, сдвинутый, неправильный, как все в нем, Филипе. Маленькая девушка, должно быть, только вошедшая в комнату, и он между окном и шкафом, уклоняющийся от луча.

Весь этот самонадеянный город – и двое. Он – в поисках друга, она, обозленная зависимостью от этого потерянного человека. Но он спасает её, вот что удивительно!

**...я не успел припрятать тебя в душе, как уже вынужден разрывать на слова, делиться, я не успел полюбить до конца, а уже тороплюсь объявить о своей любви. Какая неосторожность и неопрятность...**

Разве не было у него мыслей, что он просыпается от её объятий и как она забралась в его постель, зачем так ласкова с ним, он отворачивает от неё свое лицо, лицо немолодого человека?

Нет, таких мыслей не было, только однажды приснилось, что кто-то его душит, вскочил на грудь и душит прямо в постели. И еще пальчики такие сильные.

Проснуться не было сил, он задышался, а когда проснулся – наваждение прошло, никого не было рядом. Только хозяйка за завтраком спросила:

– Вы что, сами себя по ночам душите, доктор? У вас следы на шее.

Он взглянул на Машу. Она пила чай безучастно, не глядя на них, катая по столу хлебные крошки, потом бросала в рот.

– Это от бритья, – сказал Филип.

И тогда она взглянула на него, потому что и так видно было, что он еще не брился.

Тишина стала их временем, она отбивала минуту, и в каждую из этих минут происходило одно и то же – завтраки, бритье, его хождение по комнате, Маша в саду, хозяйка, выглядывающая в окно.

Старуха сильно сдала за последний месяц, на неё оставалось мало надежды. Возможно, отмыв вместе с Машей квартиру, она ушла в воспоминания, но они не поддерживали её, наоборот, лишали сил.

Поведения Филипа она не одобряла.

– Я не хочу портить репутацию моего дома, – сказала она. – Но на многое я бы закрыла глаза. Вы боитесь разницы в возрасте? Напрасно. Мужчина – тот, кто старше своей жизни на несколько жизней, чтобы было о чем шептать любимой по ночам. Девушка растет, вы сами приведете её к тому, что она отдастся первому немецкому солдату.

– При чем тут я? – сказал Филип.

Он не хотел этого слушать, только чувствовал, что зима входит в него и делает душу угрюмей. Он старался встречаться с Машей пореже, в квартире это было трудно, вся надежда на её сон, сна ей всегда было мало, она спала не по сезону – зима, лето, просто спала, какая разница, чтобы не видеть плохой жизни, – а хорошую где взять?

Так не спят даже в тюрьме, там хоть надежда на освобождение, а здесь у нее – старуха, Филип, город за окном, безучастный ко всему, кроме самого себя.

Ах, этот город, осененный благодатью, спасенный случаем, осласливленный прошлым, ах, этот город – камень с горы, поддерживаемый слабеющими руками гимназиста...

– Мужчина, униженный женщиной, никогда не подыметя, – сказал мальчик. – Вы не согласны, Коварж, со мной?

Что она ушла, старуха обнаружила первой и боялась сказать, но он сам это понял, потому что вместе с ней ушел её особый запах, запах скисшего молока. Как казалось Филипу, он помнил этот запах с детства, когда дома на рынке ему разрешала мама взять на четверть кроны с прилавка небольшой стакан ряженки, покрытой толстой шляпкой коричневой пенки, к нему кусок сладкого промасленного торта, и пить, смакуя, с полным правом считая это завтраком, никто не заставит его больше есть.

Он помнил себя стоящего среди рынка с граненым стаканчиком в руке, холодные губы и липкие от крема пальцы. Достаточно, чтобы жить.

Старуха только сказала:

– Я вам боялась открыться, приходила та девушка, Катя, я не хотела пускать, но что им торчать на морозе в чулочках тоненьких, застудятся, жалко, я пустила, они и начали шептаться, та все сманивала куда-то, уговаривала идти, клялась, что все обойдется, даже интересно. А наша все просила, чтобы та поберегла себя, она еще раз попросит вас оставить у нас Катю, но та только смеялась и отвечала, что вы старый, ни на что не способный чех, от вас толку не будет, только время потеряешь, и надо идти вместе с ней.

– Куда? – спросил Филип. – Куда они собрались идти?

Он не помнил, как оттолкнул хозяйку, оделся, закрутил шею шарфом, нахлобучил недавно выданную шапку с меховыми ушами и вышел на улицу.

Направление пути было ясно, в этом морозном, как в кулаке стиснутом, городе не слышно было ни звука, только дразнящее воображение подобие музыки где-то недалеко, за углом, потому что зима все приближает, когда ты выходишь из теплого дома, все делает понятным, правда, из-за холода трудно достижимым. Он и пошел, откуда слышалось, на Пятницкую. Он стал искать дом с подоконниками, на которых, свесив ноги, сидят лучшие в мире женщины и лузгают семечки. Но ставни были закрыты, что не мешало слышать время от времени гогот и визг.

Солдаты, часто в исподнем, выбегали из домов, делясь впечатлениями и подпрыгивая от мороза, мочились прямо здесь под окнами, потом возвращались обратно.

Он вошел внутрь.

– Вам не сюда, господин офицер, – сказал удивленный швейцар. – Вам рядом...

Но он уже шел по лестнице на второй этаж, затем по коридору, дергая ручки дверей, заглядывая. Иногда на него прикрикивали, чаще не обращали внимания.

Ему был все равно. Он знал, что ищет. Его не отталкивало и не возбуждало увиденное. Он знал, что такое война, у него на руках умирали эти люди, он ничего не мог для них сделать, он понимал силу последнего желания и знал, что возникает в их душе перед смертью, и сейчас он открывал двери в эти желания.

Все было просто и понятно. Непонятно было только – откуда они узнали о ней и зачем она им понадобилась перед смертью.

– Э, да это наш доктор, чех, – крикнул кто-то. – Заходите сюда, мы вам поможем, да, это доктор, он меня спас, заходите, кого вы ищете?

– Чех, Чехов, чех, – завопили другие, или он случайно услышал любимое имя, ему показалось.

А потом он увидел Катю, она сидела на коленях у какого-то солдата и совсем по-детски совала ему палец в рот. Это было отвратительно и смешно одновременно. Солдат делал вид, что пытается откусить палец, она отдергивала, оба веселились, пока Филип не подошел к ним.

– Где Маша? – спросил он. – Куда вы дели Машу?

– Да нет её со мной, – удивленно округлив голубые глаза, сказала Катя. – Вот куда прибежал, дурак, а все говорил о любви, о любви.

– Где она? – кричал Филип, отрывая её от солдата. – Куда ты её дела?

– Да не пошла она со мной, испугалась, что вы набрасываетесь, не пошла и меня пускать не хотела, что вы там между собой разобраться не можете? Дай ему в морду, Гансик, может, поумнеет!

Машу он обнаружил на той стороне улицы, у ограды, сразу как выскочил из дома, она смотрела на освещенные окна, не обращая на его появление никакого внимания. Только глубокие тени лежали под глазами.

– А я тебя ищу, ищу! – продолжал кричать Филип. – Зачем ты ушла? Что я тебе плохого сделал?

– Ты её там видел? – спросила Маша. – Я не пускала, не пускала. Если она там, я сама убью её, лучше бы в Германию угнали, чем там, с фашистами! А вы что там делали? И вы туда же? Сладенького захотели? Вы такой же, как они, чем вы лучше? Тем, что я должна быть обязана вам, благодарна, а этим собакам нет? Зачем вы меня спасаете? Чего хотите? Благородно, да? Оберегаете? Для себя, да? Вы – старый, куда вы лезете? Вы даже этим сволочам неприятны! Да я скорей в Азове утоплюсь, чем буду с вами. Пусти козла в огород, чтобы он капусту берет! Ах ты, козел старый, чех, фашист, фашист!

Она и дома продолжала оскорблять его, а он сидел и смотрел на её глаза, которые в этот момент исчезли куда-то, превратились в шелки, на некрасиводвигающиеся скулы, неожиданно обнаружив, что они у неё есть, под прядями волос были не видны, да он и не смотрел, сами волосы расплелись и неожиданно стали мелкими, ничего не значащими прядями. Он впервые видел её лицо.

– А ты меня в Прагу с собой возьмешь? – спросила она. – А то я без тебя привыкла бояться.

– Возьму, – сказал он.

– В самом деле возьмешь? Зачем я тебе? Засмеют...

О том, что Гейдриха убили в Праге, он узнал от главврача, убили два чеха, засланные из Лондона. Габчик и Кубиш, так их, кажется, звали. Гейдрих бежал за ними, смертельно раненный, стрелял, даже одного ранил.

– Вам надо уезжать, Коварж, – сказал главный врач. – В связи с убийством в Праге настроение у гарнизона плохое, вы единственный чех, можете начать отказываться у вас лечиться, я уже говорил с командующим, он переводит вас на фронт, ближе к Сталинграду, там готовятся настоящие бои, вы пригодитесь.

– Хорошо, – сказал Филип. – Я и сам хотел просить вас об этом.

– Ну вот, ну вот, все остальное ерунда. Забудьте, что вы кого-то оставили в этом городе, мы все только и делаем, что теряем. Они недостойны наших усилий. Вы понимаете, о чем я говорю? Они неисправимы, понимаете? Я не знаю, что там у вас, но по собственному опыту... Вы понимаете меня, доктор Коварж?

– Когда мне отправляться? – спросил Филип.

– Завтра же утром, немедленно. И постарайтесь уехать тихо, без проводов, истерик... Гейдриха будут хоронить в Берлине, – неожиданно добавил он. – Говорят, сам фюрер безутешен. Ужасная потеря, правда?

Все обошлось. Он простился со старухой. Маня спала. Она была бы недовольна, если бы он разбудил её и прервал сон. Поняла бы, что он оставляет её одну, и теперь никто не способен ей помочь. Нет, не поняла бы, не захотела понять, выслушала бы что-то, не открывая глаз, об этой истории в Праге, о его отъезде, буркнула вроде: «Чтоб тебя там свои убили», и отвернулась к стене.

Филип Коварж уходил не оглядываясь. Он оставлял её гимназисту.

## Сергей Самсонов

### Рука

Руку хотелось напрячь – от плеча до широкой разбитой ладони урожденного пахаря, плотника, землекопа, наводчика 76#миллиметрового орудия ЗИС#3 и первого на всю артиллерийскую бригаду гармониста. Рукой хотелось подцепить свой тощий сидор, с ощущением избыточной силы ухватиться за ручку носилок, помогая измаянным, спавшим с лица медсестричкам, освобождая их от этой грубой тягловой работы, и принять в нее миску с дымящейся пшенкой, и затянуть завязки на кальсонах, и придержать вот это самое, справляя малую нужду, и запахнуть плотнее госпитальный бежевый халат, и почесать в подмышке и в паху, и свернуть самокрутку в содействии с пальцами левой руки.

Во сне Зубилов ясно чуял ее живую неподвижность, ее железно-несомненную и подчиненно-управляемую тяжесть на поднимаемой дыханием груди, и оснащенность ее толстыми натруженными мышцами, и как будто бы даже движение крови по оплетавшим ее жилам. И опять видел белую степь и ползущую от горизонта на позиции их батареи густо-сизую дымную мглу, а потом вот от этой напирющей от горизонта снежно-гаревой тучи накачивал непреклонный и неотвратимый осадистый гул, проникала опять в его кости вибрация множества силовых установок, проступали яснее сквозь мглу грязно-серые и желтоватые тяжкие тени, очертания нестрашных попервоначалу квадратов – плосколобые башни с крестовыми метками и стальные ручки хищных траков, вокруг которых вертелись лохматые снежные вихри, и уже было видно готовое к буревому плевку и ко взрыву кромешного мрака жерло длинного тяжкого хобота с набалдашником дульного тормоза.

И приказ командира расчета Грачевского снова прорезался сквозь танковый гул и трескучее эхо разрывов: «По танкам справа, наводить на головной! Прицел двенадцать, бронбойным...» – тем отчаянно-звонким петушиным мальчишеским голосом, что казался, наверно, ему самому непреклонным и страшным, да и был для него самого и для всех таковым, потому что во всем уж была, отовсюду дышала крещенской стужей необсуждаемость боевого труда всех советских людей.

И опять он от этого охлеста прикинул намозоленной бровью к резиновому оглазью панорамы и вращал напряженной правой рукой маховик поворотного механизма со скоростью бега секундника, с тем никуда не девавшимся мускульным чувством, с которым столляр снимает с заготовочной доски кудлатенькую стружку с папиросную бумагу толщиной.

И еще через миг видел с режущей яркостью, как перекрестье прицела совмещается с рубленным силуэтом железного чудища, и не видел, но чуял, как за правым плечом его падает бронбойный снаряд в полукруглое русло казенника, и как мягкая медь пояска забивается в устье ствола, и как следом вползает зарядная гильза, и, не глядя, нашаривал правой рукой удобнейший кнопочный спуск, и резиновый, мокрый от пота оглазник прицела ударял его в бровь, и тугой горячей болью врывалась Зубилову в уши волна орудийного выстрела одновременно с приседом и подскоком всей пушки. И тотчас запах дыма, окалины и горелого масла привычно поражал его мозг; запах, что давно въелся во все поры его фронтового бытия, запах тех концентрированных, чистых веществ, которые произошли когда-то от огня и сами могут порождать неистовый огонь, а теперь служат лишь разрушению, заодно сделав каждого боевого наводчика тугим на ухо и не чувствительным к их палящему жару.

Выполняя приказ «стойко оборонять» и «ни шагу назад», их бригада держала позицию на реке Мышковая, то есть на внешнем кольце окружения немцев под Сталинградом. Сконцентрированные к юго-западу от кипящего лютой стужей котла силы немцев заложились какой угодно ценой продавиться к своим окруженным братьям и выкатили на бригаду

Зубилова новые сверхтяжелые «тигры». Ударяя в массивные плоские лбы этих чудищ, бронбойные наши болванки рассыпались на искры – и Зубилов, подкручивая маховики, выворачивая винт подъема из матки, повторяя «какого ты ...?», будто бы не давалось по шляпку загнать покривившийся гвоздь, наводил перекрестье под башню, так чтоб нитка прицела угодила ровнехонько в стык между плитами башни и корпуса, и тогда уж и в бога, и в мать, и в угодников всех разворачивало лепестками броню, и подрытая башня наткнувшегося на незримую словно рогатину зверя обрывалась с погона под горку. Из щелей сокрушенной махины черно и багрово ударяло предсмертное пламя, и дымилось уж ложе казенника, и давил, и давил распаленный Зубилов на спуск, больше не успевая ловить глазом каждую изжелта-красную бронбойную трассу, что вонзалась в густой грязный дым, затянувший всю степь, и ревущее скопище танков. Они делали все, орудийный расчет лейтенанта Грачевского, как один человек, на себя навлекая с каждым выстрелом охлест ответный. И «тигр» хлобыстнул.

Он не слышал разрыва и почти что не видел фонтанного всплеска огня и земли, накрывающей бешеным крошевом все, – огромной и твердой, как трехобхватное бревно, буранной волной ударило в голову, в грудь и в живот, как будто бы выбив его из него самого, в груди раздавив вздох последний, и не было Петьки Зубилова больше нигде, как и всего его расчета с командиром. Но горячее и властнее всего впилась и проткнула боль правую руку над локтем, как будто бы был на бревне, которым накрыло его, острый сучок, пришедшийся в это вот место. И эта упертая боль не кончалась, сучок обломился, застрял, а следом за нею пилою вгрызалась другая, но будто и эта еще не была отнятием части от целого, терзала живое и оповещала о цельности. И две эти боли, сливаясь, пускали в нем в корни до пальцев, сквозь них прорастая в матрац, и, вскинувшись посреди ночи на панцирной койке, вклевался в такую живую, кричащую руку, проваливаясь тотчас хапком в пустоту, сминая тисками пижамный рукав, и сызнава выл сквозь зубовное сжатие от – ничего, кроме тупой, внахлест заштопанной култышки.

И в темноте лицо его сжималось, как кулак для удара, который он не мог никому нанести, – и уже не от боли, а гнева и обиды на этот повторявшийся пятый уж месяц обман, словно не кто-то, а его же собственное тело, его естество изгалялось над ним, заставляя почувствовать тот кусок плоти, то простое, чудесное, данное каждому для строительства жизни оружие, что (опять же – ну, наверное, не преступление) давно уже принадлежало земле, поторопившейся как будто бы до срока завладеть человеком, но не смогшей его целиком заглотить, так и остановившейся на полдороги.

Потерявший все чувства, он не ведал, не помнил, ни как очутился в санбате, ни как разрезали на нем с портновской сноровкой все тряпки от продымленной телогрейки до исподнего, ни как измученный работой хирург занялся его черной обожженной рукой, разможенной в плече, но державшейся, как зеленая ветка, которую еще надо усилиться открутить и сломать. Врач, который пилил ему кость листовой пилой, разъяснил потом, что ампутация была единственным возможным средством сохранить Зубилову всю будущую жизнь, что не он, врач, ножом, а осколок снаряда, по сути, отхватил у Зубилова руку, ну а он, врач, шлифуя напильником кость, сделал все, чтоб Зубилов испытывал меньше страдания теперь... но еще ничего он, Зубилов, в то время не мог понимать, кроме боли такой, что не чувствовал сквозь нее ни горячего, ни холодного он ни в каком месте тела.

Словно, кроме руки, этот врач удалил что-то из головы у Зубилова: он не чувствовал сладкого, кислого, горького и даже вкуса табака не различал. Все, что было само собой внятным, от Зубилова напрочь отстало. Что-то сделалось с памятью, с пониманием, кто он такой и откуда пошел, вроде помнил он все: и ребят с батареи, и деревню Корнеевку бывшей Самарской губернии, и природу родной стороны, и сестренку, и мать, и отца, и Наталью. Но все это как будто касалось другого, хоть и близко знакомого. Не того человека, который

остался на горячем снегу у реки Мышковой, а скорей того крепкого, несмотря на колхозную проголодь, парня со снегириными щеками и беспредельно доверяющими Родине и Партии глазами, что ушел перед самой войной по призыву в рабоче-крестьянскую армию: «Мы войны не хотим, но себя защитим... малой кровью, могучим ударом!» И как будто нигде не могли они встретиться – тот паренек с этим вот еле-еле понимающим, где он и кто он, все никак не способным не обжиться в своих новых телесных границах, безнадежно-пылливо глядящим в себя и вокруг, от всего отсеченным уже-не-бойцом, что опять, как дитя, приучался орудовать ложкой.

А когда эти два человека все же сблизилась и совместились, то как будто уж лучше бы не соединялись. Потому что теперь уж сильнее, чем телесная притупленная боль, донимал, изводил, погрызал и вот даже придавливал к койке вопрос: а на что и кому теперь нужен такой? Вроде бы и вопрос-то неправильный, для иных оскорбительный, неправомочный. На соседних-то койках – без обеих вот рук или ног инвалиды. Были и вообще «самовары»: этим как? без конечностей всех? Сквозь сведенные челюсти выпускали такое проклинающе-гибкое, одинокое «а-а-и-и-ы-ы-ы», что и зверю, наверно, никакому неведомо. Вот уж кто навсегда неспособен не то что самокрутку свернуть, но ее и ко рту поднести, сам себя обиходить не может, вот кому по земле никогда не ступать и глядеть до скончания дней сквозь окошко на синее небо и солнце, вот кому уж теперь-то – куда? И немедленно сносной и как будто бы даже пустячной в свете этой безвыходной несправедливости, боли чужой начинала казаться потеря своя. Уж сгодится в народном хозяйстве на что-нибудь и с одной рукой: даром грамоте, что ли, обучен? Отец и мать тебя любого примут, хоть без руки, хоть без ноги, хоть дурака после ранения, да будь хоть с фронта дезертир, вовеки проклятый во всем народе и презренный, – и то, наверно, возникни на пороге, от всех таящийся, повсюду бесприютный, – не отвернется мать, нутра не пересилит. Как это некуда ему, Зубилу, идти?

Лишь о Наталье мысль: как она его такого встретит, что у нее в глазах возникнет, как оскользнет его голодным взглядом сверху донизу и в пустоту провалится под правым-то плечом? Нешто согласна будет опереться на такого, соединив с калекой будущую жизнь? Вот что его, Зубилова, придавливало к койке и глаза заволакивались едкой мутью, как только взглядывал в родную сторону, в том направлении, в котором должен был уже скоро унести его поезд. И вот как только ни уверял его пожилой Рудаков, инвалид без ноги, в том, что русская баба бросить мужа в увечье не может, поперек своей собственной сути пойти, от здорового может сгульнуть, коль шлея ей под хвост угодит, а (а зачем это «чтобы?»), мешает оно, в предложении есть слово «может»: может сделать это, а калеку оставить – нет) калеку оставить – про такое он в госпиталях, Рудаков, за все время ни разу не слышал.

Только то ведь жена, что уже допустила до себя мужика ближе некуда, прилепилась к нему, держит вместе их сила предшествующей жизни: общий дом, общий пот и мозоли, столько уж страдных лет, долгих зим, может быть, и рожденные дети, что-то в ней уже вызрело, выросло, нестигаемо прочное и постоянное, как любовь материнская. А Наталья не то что ему не жена, но и сговора никакого у них до войны не случилось, ничего, кроме робких, украдчивых рукопожатий да взглядов в любимой молодыми игре «кто кого пересмотрит». Обещала писать и писала: «Дорогой друг мой Петя! Шлю тебе свой сердечный привет. Получила твое письмо, и у меня от радости руки тряслись, как узнала, что ты жив, здоров. Сразу стало спокойно, и я отдохнула немного душой, но на сердце все равно лежит камень, так как время уже пробежало, и я снова не знаю ничего о тебе. У меня вся душа прозябла, думая, как ты воюешь и какие муки терпишь. Только бы обошли тебя все проклятые бомбы и куда-нибудь вас отвели, чтобы вы отдохнули немного. А за нас не волнуйся. Мы с подругами и стариками, как можем, работаем, а это – с утра до ночи. Нам теперь тяжело, так как молодых парней у нас уже в колхозе не осталось, всех забрали на фронт,

даже самых худых мужиков с пожилыми, считай, всех забрали. А работать надо с бодростью, потому что весь почти хлеб, который мы соберем, отправляют на фронт, и государству будет от нас против фашистов польза. Может, и ты наш родной хлеб испробуешь. А ночью я еще носки и варежки вяжу, это тоже на фронт, так как скоро зима, а вы там и ночуете, может, на голой земле, потому что с позиции вас никто не отпустит. А соседи наши, Дикаревы, вчера на третьего сына похоронку получили, на Кольку. Убили его подо Ржевом, а где этот Ржев, никто из нас и не знает сильно. И опять на меня наступила тоска, потому что так много парней из деревни побилла война. Я молитвы читаю, когда дома одна, и тебе напишу, чтобы ты, может быть, почитал перед краем, когда вам воевать предстоит, хоть я знаю, что ты комсомолец и против религии».

Вот такие ему от нее были письма: у кого хватит силы после строчек таких не поверить, что Наталья присохла к нему. Так теперь и заочницы в письмах клялись в вечной верности тем, кого вживе ни разу не видели. Весь иззябся, продрог одинокой душой человек и в тылу, и на фронте, и единственное, что могло утолить его сердце, было сердце другого единственного человека. Только в письмах с чернилами вместе могла изливаться тоска и копившееся без исхода желание любви, было жизненно важно излить свою нежность, отворить свою душу сейчас, а о будущей жизни никто как бы вовсе не думал.

Свободных мест в их госпитале не было, а раненых бойцов все прибывало, не один батальон, не одна даже армия, так что дело зубиловского излечения... умаления боли?... пробуждения к жизни?... примирения с собственным телом?... подвигалось к концу, к «больше мы вас держать не имеем возможности». Главный врач, Александр Кириллович, все просил ранбольных (именно ранбольных, это казенный штамп того времени, эпохи) написать домой письма, сообщить без утайки всю правду об их положении, подготовить отцов, матерей или жен, попросить, чтоб приехали те, если могут, в Саратов, и забрать их отсюда. И, конечно же, многие – кто без рук, кто без ног особенно – таких писем еще не писали и писать не хотели, ровно переродившись в себе, в новом теле, и закоренев в убеждении, что уж лучше пусть жены считают их мертвыми или пропавшими без вести.

Самолюбивая мужская дурь, неверие в женщин, которые помнят их прежними, сильными, ладными; стыд за свою непоправимую огрызочную нищету, нежелание отягощать молодых и красивых и испытывать их своей немощью, принимать от них в жертву, заедать красоту их и молодость, – все это жгучее, каленое, железное, раздуваемое в человеке мехами его собственных легких, как уголья в печи, с бесповоротностью тащило их от дома, загоняло их в новые города и пристанища, где никто их не знал и не мог сличить нынешних с прежними.

Кое-кто из безногих обучался тачать сапоги и скорняжничать, устраивался жить среди таких же инвалидов в артелях камнерезов, столяров, гранильщиков, лудильщиков, портных. Но куда больше было других – становившихся вмиг перекаточной голью, пьющих горькую, вечно подданных, торговавших на каждом углу папиросами вроссыпь, без пощады терзавших баян или прямо вымогавших угрюмым молчанием милостыню, прямо здесь, на саратовских улицах и базарах, оставшихся.

Он, конечно, не думал о бегстве в бродячую жизнь, о затворе в каком-нибудь дальнем инвалидном приюте – про то уж говорено, что не так его обезобразила, обессилила и сократила война, чтобы отворотиться от родной стороны безоглядно. Но и письма со всею правдой о себе родителям еще в деревню не отправил. Уж Наталья узнала бы мигом: по деревне все слухи бураном проносятся. Да и бегают, может, каждый день на зубиловский двор: нет ли весточки новой какой от Петра? Не решался никак. Будто ждал, – над собой измывался, – что рука отрастет.

Сам не мог написать: вот и ложку-то левой рукой держать приловчился не сразу, а буквы... вот попробуй-ка ты накорябать хоть «мама» и «папа» – да уже после первых коря-



вых извилин, с прилежанием пыточным пройденных, бросишь к черту перо-карандаш да еще непослушной рукой по столешнице что есть мочи засадишь со злобы. Это сколько же надо терпения! Да уж проще явиться домой во плоти, чем послать вперед весточку: ждите, вот такой к вам вернется герой.

Под диктовку безруких соседи рукастые да медсестры могли написать, только вот не хотелось доверять никому сокровенное, выворачивать душу на позор с кривотолками. И вообще человека чужого просить хоть о чем. И еще тем сильнее не хотелось, что Зубилов уже понимал, что одной рукой без подмоги мало с чем может справиться, даже с самым простым, что не скоро еще приловчится сам себя обихаживать даже (ну а пуговицы, скажем, к рубашке никогда уж себе не пришьет, как бы ни искрутился), что ему о подмоге придется просить всю дальнейшую жизнь: как кобылу запрячь, править ею, косить, править нож, насадить его на косовище, с молотком и гвоздями, фуганком, лопатой, вилами управляться сподобиться... – натыкался на каждом шагу на торчащие отовсюду сучки и проваливался в смехотворные ямки, для здорового не существующие.

И такой-то он сможет составить для Натальи всedневное счастье или хоть сделать так, чтоб не ведала горя и тягот, что и так уж хлебнула, поди, через край за все время войны? Неустройства в хозяйстве, в дому чтоб не знала, недостатка ни в чем, что ей должен и может обеспечить здоровый мужик? Да стеснит ведь и свяжет ее по рукам и ногам своей немочью, все труды на нее перевалит, загоняет, всю жизнь будет мучить беспрестанным своим «принеси» да «подай». И чего она ради без устали и передыху крутить себя будет жгутом, отжимая до капли – ему, все ему? И, положим, не спросит за целую жизнь: «а когда будет мне?», «будет что-нибудь мне от тебя?», никогда его немочью не попрекнет, неспособностью выправить ничего из того, что в хозяйстве расстроилось и покривилось, – что ж, готов он принять от нее эту службу?

Вот не то чтобы в ней изуверился, в том, что чувствовал в письмах ее, – мол, захочет она, едва только увидит его без руки, непременно легкой жизни, удобств, отдохнуть хоть немного измаянным телом от колхозной страды, вечной проголоди за мужицкой силой, которой в нем теперь уж, Зубилове, нет, – но себя он не вправе считал покривить, испохабить ей жизнь.

«Эх, и дурень ты, парень! Да ты, может, один на всю вашу деревню мужик и остался, – перед самой зубиловской выпиской вколотил ему в мозг Рудаков. – Что ж, не видел, на фронте что деется? Сколько уж стоящих парней, да и нестоящих побило. Это, может, в больших городах много таких, кто с бронью от завода, да начальников, да инженеров, да партийных работников, кто на смертный-то бой нас из тепла вдохновлял, а в твоей-то Корнеевке что? Да ты только явись на порог – мигом вцепится, вообще будет свалка из женщин. Что же, в девках теперь, раз такое, ходить, пустоцветами? Ну, уж нет, это против природы. А дите смастерить – это кто им? Дух святой? Воля партии? Нет такой воли. Хоть какой, без руки, без ноги, а для этого дела ты годный. Так что не сомневайся, Петруша, – живи».

Непонятно и душно помыслить, какая жизнь уже начиналась. Никакого добра, кроме мелочи бритвы и мыла, да солдатской одежды, у него теперь не было.

Попрощавшись с товарищами, он пришел на вокзал, сел в телячий вагон проходившего через Куйбышев поезда и спустя трое суток сошел на перрон незнакомого города, а потом долго мыкался по запруженным гражданским народом проспектам и улочкам меж высоких домов в сотни окон, добирался попутками до райцентра Алексин, а вернее, до узанного со мгновенным сердечным обрывом поворота домой, на Корнеевку, и всю эту дорогу насиловал память, пытаясь разглядеть сквозь устоявшуюся мглу, сквозь пустоту больничного покоя, сквозь белизну заснеженной степи родные лица. И если материнское, отцово, сестринские лица мгновенно проступали сквозь туман, то вот Натахиного лика вспомнить он

не мог, того, что обращен к нему и смотрит на него как на единственного человека, которого ей не заменит никто.

Ничего у них общего не было – дома, хозяйства, постели, ничего они с этой войной не успели, и ничего существенного потому не вспоминалось, лишь начинал бить в голове и во всем теле мягкий молот крови, становилось и больно, и сладостно, исчезала земля из-под ног, и уносило Зубилова в пахнущее клевером пространство, в одно и то же время беспредельное и тесное, наполненное жарким, как в печи, обрывистым дыханием и как бы близостью ее покорно привалившегося тела, и он хотел ее огладить сверху донизу, до обмирания взаимного затиснуть, и только тут и ощущал вместо руки свою культю.

У поворота на Корнеевку он вспомнил ее разом. Вся ладно-крепкая, звеняще-налитая, так что рубаха с долгой юбкой на ней не морщилась нигде, уж не охватывая – как бы обтекая крутые бедра и прямую спину, телом крупная, но не расплывчатая, вся как будто парным молоком с головы до ног мытая, вот и с полными ведрами на коромысле ничуть не согнувшаяся, даже, как бы напротив, устремленная ввысь и натянутая от макушки до пяток, как тугая струна, с чернобровым лицом, смоляной косой, вокруг головы наподобие короны обвитой, – у всех корнеевских парней да и герасимовских тоже сворачивались набок шеи, так она выступала, волнуясь своим стройным станом и воды не расплескивая. А в самом ее чистом лице с доверчиво и ясно глядящими на мир зеленоватыми глазами отпечатано было не то что своеволие чертовой девки, злой и бешеный нрав, но большое упрямство, решимость жизнь свою скрепить с тем, кого выберет сердцем, сокровенным своим естеством, никого не послушав и ничем не смутившись. Даже и не упрямство, с неразумия ее восемнадцати лет, а какая-то взрослая, умудренная стойкость. Через это лицо, через эти глаза он, Зубилов, так чисто увидел свет жизни, как его никогда, может быть, не учуял бы, не живи рядом с ним эта девушка.

В заведенном в Корнеевке клубе трудовой молодежи, куда слетались парни с девками под вечер, как мотыльки на ламповый огонь, где и приезжая учительша из города вела про светработу для ребят, проводя демонстрации на Первомай или ставя спектакли про рабочих, крестьян и буржуев, где и танцы устраивались под патефон и гармонь... в этом клубе к Наталье норовили пристроиться многие, а она потянулась к Зубилову, хотя он разве только бросал на нее исподлобья украдчивый взгляд, тотчас же потупляясь, как только приметит она. Сам не мог вот понять, что ж такого она в нем разглядела: и сложением не богатырь, и лицо, каких много: отвернешься – и сразу забудешь. И нахрапа в Зубилове не было, победительной наглости, разве что на гармонике складно играл и все больше печально-протяжные песни, а не озорные частушки...

Да уж, было, разворачивал Петька Зубилов гармонику, в батарее заслушивались, оживали отшибленные перепонки, и чумазные лица, сведенные, словно кулак для удара, разжимались, разглаживались, и не то чтоб щекотно у бойцов намокали глаза, наводняясь дрожащей слезой, а скорей прояснялись, светлели. Только это не он, уж конечно, так чисто играл, вызывая такое отрешение и прояснение в лицах, а придавленные боевой маетой и бомбежками души тянулись к маломальской, любой, после воя и визга спасительной складности: даже самый простой, безыскусный напев разбудить мог в нутре человека все святое, родное и чистое. С первым звуком гармоники будто бы опадала, развеивалась дуновением смиренного воздуха тяжкая пылевая и дымная наволочь от непрерывных снарядных разрывов, в черно-синей ночной вышине прожигались одна за другой, тихим, бедным мерцанием проклеивались, словно зернышко к зернышку, звезды, и явление божьих небес утешало людей на покое своей нерушимостью и постоянством: вот казалось, и нет его больше, перестало быть небо само, как уже нет и всей опоганенной человеком природы, а оно между тем высоко и незыблемо живо.

Сколь ж было сейчас бесконечного неба над ним – голубая смиренная бедная синь его родины. Был он ранен зимой и тогда же «дорезан», а сейчас начинался сентябрь, и Зубилов шел пехом десять верст до Корнеевки, озираясь, вбирая беспределье унылых ковыльных полей, неизбывную их вековечную грусть, равнодушную чуждость, непонятную родность бесприютной равнинной земли, что как будто совсем не жалеет, не видит тебя, но тебя уж вскормила и сделала таковым, каков есть, – одним только своим неизменным покоем, тишиной, молчанием. Благодарную жадную радость подымали в нем каждый цветок, каждый куст, даже самая чахлая и затерянная среди таких же травинка. Провалившийся в белом покое на койке с отшибленной памятью, речью и слухом полгода, видел он под ногами цветы и не мог их узнать, а когда узнавал, то не мог вспомнить названия полевого цветка. И стелившуюся по земле повитель с голубыми цветками, и колючий, нахальный, живучий бодяк с грязно-белыми клочьями пуха, хранящего семя, и бог весть откуда занесенный сюда колосок смугло-желтой пшеницы, и раскидистый, рослый, доходивший ему чуть не до носа, замастерелый татарник с зазубренно-колючими стеблями и махристыми малиновыми венчиками, и седую полынь, от которой далеко растекалась дурманная маслянистая терпкая горечь, и отцветший уже дурнопьян, у которого, знал он, чудные, красоты несравненной, цветки, наподобие, что ли, граммофонного раструба, до невинности нежные, чистые и при этом как будто прожорливо-хищные... и осот, и пушистую кашку, и козлобородник, и желтую сурепку с ее медовым запахом, и полиняло-голубые под старость васильки – да несметное множество раз, ежечасно и сызмальства видел, вдыхал, но сейчас напал как впервые и вспомнить не мог.

И вдруг узнал – не куст чертополоха, не бледно розовеющие клеверные шишечки, не подорожник с еле слышным запахом, а всю родную местность, саму как будто женственную линию степного горизонта, невысокий увал, на который подынешься – и увидишь село, покрывившуюся колокольню деревянной корнеевской церкви, мертвоглазой и жуткой, пустой, серебристо-седой от ветров и дождей и построенной в те времена, когда в русской земле возводили высокими только божьи храмы. А под ней, высоченной, проявятся как бы вровень с высокой осенней травой, словно тоже растут из земли, как трава, престарелые, ветхие, крепкие избы, среди которых нет двух совершенно похожих, хотя издали все они серы, словно овцы в отаре; и свой дом, и Натальин не спутаешь ни с каким пятистенком чужим.

Был прямой удар в сердце, и крещенской водой нахлынула на него несказанная родность, в одночасье снимая с усталого тела будто всю его старую, отболевшую кожу, высветляя его существо аж до самых загудевших, запевших костей, и во рту его сразу воскрес вкус пузырчатого молока только что из тугого отвисшего вымени. Молоко пахло клеверным сеном, отдавало полынной горечью и несло дух животного лона, и уже он не чуял ни боли, ни своей невозвратной потери, потому что стал весь как дитя.

И уже покатило его сердце под горку, которая будто все не кончалась до самой околицы, до окраинных сизых от ветхости изб, и расшиблось вдруг о пустоту, словно птица с налета о какое стекло: из-за большой колхозной клуни вывернули женщины – в телогрейках, обвисших старушечьих юбках, платках, в сапогах, а все больше в опорках, трудовое колхозное женское «войско» с лопатами и гремящими ведрами. И уже было с ними Зубилову не разминуться: увидят – хоть они и глядели только перед собой или под ноги. И почуял опять он пустоту вместо правой руки, в тяжело колыхавшемся на ветру рукаве, и свою безысходную неспособность помочь этим бабам в труде, ни какой-то одной – с прохудившейся крышей, не всем вместе взятым. И уже различал их опавшие, подведенные слабым питанием и мужицкой работой лица, – сам как пробившийся в подземной сырости погребца блекленький картофельный росток. Все они были издали на лицо одинаковы – с подчеркнутыми будто углем ли, землей ли ободками пристывших, угасающих глаз, с подпачканными той же зем-

лей висками, и ноздрями, и глубокими складками, что бежали от носа к одинаково строго и горестно сжатым губам. Он увидел ее не глазами, а сердцем. И чугунным набатом загудело в нем все, что владело последние месяцы им, прибывая, вминая в госпитальную койку, – как бы и не вина, и не стыд... потому что: в чем же он виноват и за что ему было стыдиться?... а все же нутром понимал, вот самую культуей, почему инвалиды бежали от лица тех, кто ждал их, забивались в чужие углы, как в чашобу больное зверье, хоть и было в родной стороне им спасение... И уже подтекло к его горлу безудержное, для него самого нестерпимое подло-злорадное: «Что же? Вот он я, принимай. Не такого героя ждала?» Словно гнало, хлестало желание поскорее увидеть, как, не скрыв отторжения, отшатнется она, словно бы торопился разувериться в ней, и могло ему это принести облегчение.

А бабы все не видели его, и, наконец, одна поворотила голову и посмотрела против солнца в безнадежную серебристо-седую ковыльную и голубую безучастно-прозрачную даль, день за днем все пустую, день за днем никого не являвшую, тех, кого ждали они, на кого не пришло им пока извещение и на память о ком не прибили на угол избы жестяную иль фанерную красную звездочку. А за той – ни женой, ни невестой ему, все державшей ладонь козырьком над глазами, – повернулись другие – и как будто ни в ком из застывших, как кресты на погосте, работниц уже не было силы удивляться Зубилову и пугаться его.

Громыкнуло оброненное и летевшее долго, как в колодец, ведро, и она подхватила к нему, как огонь, в трех шагах спотыкнулась и рухнула перед ним на колени, поползла, словно бы обезножела, и ошаривала закричавшими матерински глазами все его существо от лица, на котором звенела и лопалась кожа, до ног в юфтяных сапогах. И уже, переполненная благодарностью, не заметив пропажи, вклешилась в его правый рукав, и вот тут только вскинулась, как охлестнутая кипятком, но руки не отдернула и подняла на него, задохнувшегося и пустого, такое лицо, что ему целиком, навсегда стало ясно: нипочем не отпустит.

И не он, все еще очень слабый, помогал ей идти, а она подпирала его вплоть до самой околицы, а потом отпустила Зубилова, чтобы не ущемлять самолюбия его перед встречными, хоть того самолюбия в нем больше не было, и по улице шли они рядом, в направлении к дому, в котором через год предстояло родиться сестре моей матери.

## Юрий Буйда Ореховая Гора

Одни говорят, что Ореховую Гору построили в середине тридцатых годов, другие утверждают, что произошло это не раньше сорок третьего – сорок пятого. Никакой горы там не было. Возможно, кто-то из строителей вспомнил о земле обетованной из старинных народных преданий, куда столетиями стремились в поисках лучшей доли русские крестьяне, – она называлась Беловодьем или Ореховой Горой.

Высокие стены из сосен в два обхвата, ворота, башни, дома под гонтовыми крышами, висячие сады, огороды, скотина и птица – и все это в самом центре страны концлагерей, в суровой Сибири, на вечной мерзлоте. Об Ореховой Горе мечтали все солдаты и офицеры, служившие в охране лагерей, – для заключенных же она была сказкой о рае. Да и в самом-то деле, как-то не очень верилось замордованным людям, что где-то в одном месте собраны тысячи женщин, которые сладко едят и пьют, прилично одеваются и даже каждый день моются теплой водой, и все лишь затем, чтобы удовлетворять мужские прихоти. Этих женщин выбирали из новеньких заключенных, подвергали тщательному медицинскому осмотру, обмеряли и взвешивали, после чего передавали в руки хозяйке Ореховой Горы – Марлене, которую заглазно звали Главсукой. Шептались, будто сама она обслуживает только Сталина. Раз в году ее специальным самолетом доставляли в Москву, где три дня и три ночи проводила она в объятиях Генералиссимуса. Перед возвращением на Ореховую Гору ее тщательно обследовали лучшие врачи, которые должны были убедиться в том, что Марлена не утаила в себе ни капельки сталинской мужской жидкости.

– Не горюйте, новобрачные! – с ледяной улыбочкой говорила Марлена. – Сегодня лучше, чем завтра, а завтра будет лучше, чем послезавтра.

И твердой рукой распределяла женщин по номерам.

«От каждого по способностям, каждому – по потребностям» – таков был основной принцип жизни на Ореховой Горе. Женщины сами вели хозяйство, ухаживали за скотиной, птицей и садами-огородами, готовили пищу. Развлечения и наказания назначались общественным советом.

Нельзя сказать, что там были собраны одни красавицы, нет, – там были собраны женщины на любой вкус: тонкие и толстухи, юные и в годах, с заурядными представлениями о плотских радостях (таких называли «пехотными шлюхами») и искусницы, способные удовлетворить самый взыскательный вкус, дамы вулканического темперамента, испепелявшие мужчин одним касанием (этим пеплом удобряли ореховогорские огороды), и абсолютно фригидные, с которыми любой слабак чувствовал себя настоящим героем...

Рассказывали о необъятной женщине, по которой трое мужчин могли путешествовать часами, не встречаясь друг с другом. Перед встречей с нею претенденты проходили инструктаж, сдавали экзамен по технике безопасности, снабжались подробной картой местности и специальным снаряжением, позволявшим спастись от смертельной тоски в бескрайних болотах плоти.

Любопытно также предание о женщине, которую можно было спрятать в кармане; один из клиентов попытался вынести ее тайком, но был раскушен Главсукой и отдан под трибунал...

Незадачливого похитителя всего-навсего расстреляли. Некоторым везло больше – они принимали смерть в объятиях Царицы. Одни говорили, что она убивала своей красотой; другие утверждали, что приговоренный к Царице погибал от разрыва сердца при первом же взгляде на ее чудовищное уродство. Но все это байки, ибо видеть ее не позволялось даже

Главсуке, мужчин же из ее покоев в лучшем случае выносили вперед ногами, в худшем, как шептались, хватало обыкновенного веника, чтобы вымести останки... Именно в ее объятиях приняли смерть самые крупные государственные преступники, включая Лаврентия Берию. Некоторые сами просили, чтобы их приговорили не к банальному расстрелу, но «к Царице». Она была той каплей страха, что придает неповторимый аромат наслаждению, той каплей уродства, без которой не может быть подлинной красоты...

Главсука строго следила, чтобы на Ореховой Горе, не дай бог, не случилось любовных историй. Но однажды некоему сержанту удалось выкопать подземный ход и умыкнуть из крепости юную женщину; любовники ушли от преследования и растворились в бескрайней тайге, где их обнаружили лишь спустя много лет; когда охотники приблизились к их обители, седобородый сержант, передернув затвор винтовки, спросил из-за ограды: «Как отчество Сталина?» – на что высланный для переговоров вперед сын вожака охотничьей партии не смог ответить и тем убедил сержанта выйти к людям...

История сохранила предание о рядовом солдатике, которому удалось навсегда остаться в царстве любви. Поскольку он оказался девственником, Марлена отправила его к заурядной «пехотной шлюхе». Однако Главсуке было невдомек, что солдатик был поэтом. Когда женщина раздвинула ноги, он взволнованно спросил: «Что это?» – «Некоторые называют это звездой, – ответила женщина. – Другие – розой». – «Но если так прекрасны врата, если так чудесно устье, каков же храм? И какова же страна, где стремится бег свой река любви?» Он потянулся к устью, врата райские распахнулись перед ним, и солдатик не долго думая отважно бросился в плавание, скрывшись внутри женщины. Ее замучили рентгеном и допросами – она лишь растерянно пожимала плечами, продолжая твердить одно и то же: «Ни капельки не было больно. Было смертельно хорошо. Он нырнул и был таков». Сгоряча решили было ее расстрелять, но Марлена не согласилась. Она отвела «пехотной» отдельную комнатку в своем доме и по вечерам приходила посидеть с женщиной, прислушиваясь к тому, что происходит внутри ее тела, и задумчиво вглядывалась в ее лицо, озаренное смутной полуулыбкой... Главсука верила пехотной. Иногда они обсуждали жизнь солдатика-поэта, отправившегося в нескончаемое путешествие по стране любви, – и тихонько плакали...

Скорее всего, это легенды: Ореховая Гора охранялась как мало какой другой объект в стране секретных объектов. Тысячи заключенных погибли на строительстве противотанковых рвов, заграждений, аэродромов, а также казарм для четырех мотострелковых дивизий особого назначения, бойцы которых поверх телогреек носили стальные панцири. А сотни метров минных заграждений? А тысячи замаскированных огнемётных установок? Но, пожалуй, самым страшным оружием были сторожевые псы, нарочно выведенные для охраны Ореховой Горы. Каждый такой пес был величиной с годовалого теленка и мог проглотить, не подавившись, одиночного бойца в полной экипировке, с сапогами, каской и кisetом для махорки; среди собак встречались и такие, что могли перекусить гусеницу вражеского танка. Так что прорваться к объекту противник мог только ценой колоссальных потерь.

Солдаты конвойных полков, отправленные на фронт, шли в атаку с криком: «За Родину! За Сталина! За Ореховую Гору!» Но как ни пытались гитлеровцы пленных в надежде выведать, что же это за Гора, ни один из бойцов так и не выдал тайны.

Заключенные сибирских лагерей утверждали, что чуют запах ароматного бабьего мяса, который за сотни верст доносили до них весенние ветры. Именно поэтому весной в лагерях начинались брожения, нередко перераставшие в восстания под лозунгом: «Век Горы не видать!» Почетом и уважением пользовались лагерные брехуны, которые вечерами плели цветистые истории о жизни в загадочном бабьем царстве...

После смерти Генералиссимуса резко сократилась численность охраны Ореховой Горы и резко же возросла ее дерзость. Бывали случаи, когда охранники, подкупленные заключенными, пропускали уголовников в святая святых, и кто знает, чем бы в конце концов это обер-

нулось, не прояви Главсука бдительность и жестокость. Она организовала хорошо вооруженные и обученные женские отряды самообороны, круглосуточно дежурившие на башнях и стенах Ореховой Горы.

17 апреля 1957 года курьер доставил начальнику охраны и Марлене приказ о ликвидации Ореховой Горы (Хрущев начал уничтожение ГУЛАГа), а 18 апреля, после общего женского собрания, Главсука подняла над главной башней крепости красный флаг неповиновения – знамя любви и отчаяния. Никто из женщин не пожелал свободы и возвращения на родину.

«За любовь!» – вот что было написано на их знаменах.

Начальнику охраны стало не до смеха, когда он узнал, что несколько конвойных рот примкнули к восставшим, – и он приказал подавить бунт любой ценой.

Но ни с первого, ни с десятого, ни с тридцать третьего раза крепость любви взять не удалось. Осажденные оборонялись отчаянно, не щадя ни своих, ни чужих жизней. Нападающие несли невосполнимые потери. Донесения начальника охраны в Москву содержат волнующие факты самоотверженности и героизма женщин, бросавшихся с гранатами под танки, обращавших в бегство полки одним видом нагих грудей, женщин, страдавших от ран и лишений, но – не сдававшихся. Если верить этим донесениям, Марлена осталась цела и невредима после того, как приняла на грудь двухсотпятидесятикилограммовую авиабомбу, – в то время как наблюдавшие за нею солдаты все как один сошли с ума, бросили оружие и бежали в тайгу...

Наконец было принято решение отвести измотанные многомесячными боями войска и сбросить на Ореховую Гору водородную бомбу, что и было исполнено. Так прекратилось существование царства любви между Уралом и Тихим океаном.

Уцелел ли кто из обитательниц Ореховой Горы – точно неизвестно (поговаривают, будто Главсука в последний день вывела секретным подземным ходом несколько женщин, в том числе и ту, в которой поселился солдатик-поэт), – но и до сих пор на этом месте в январе распускаются роскошные розы, а звезды над тайгой, как уверяют астрономы, необыкновенно, неправдоподобно ярки. Однако тому, кто отважится пробраться туда через тайгу, угрожает безумие, ибо сила радиоактивного излучения любви несоизмерима с силами человеческими...

## Юрий Поляков Ветераныч

Недавно на глаза мне попался номер ежедневной газетки, которую вообще-то никогда не читаю. Но в тот день домочадцы поручили мне добыть телевизионную программу на неделю. По дороге в универсам я заглянул в киоск «Союзпечати», там было шаром покати – пришлось брать, что дают.

В универсаме я быстро покидал в казенную пластмассовую кошелку хлеб, молоко, масло, сахар – одним словом, все то, что доверяется покупать мужьям, – и встал в длинную очередь к кассе. Мне иногда кажется, что очереди у нас охраняются государством как живая память о первых шагах молодой рабоче-крестьянской власти.

Кассирша работала медленно и брезгливо, словно за высококачественные питательные продукты ей нагло впаривали не деньги, а какую-то резаную, да еще и мятую бумагу. Я вспомнил утреннюю ссору с женой. Она преспокойно намазывала бутерброды, потом вдруг швырнула нож, заплакала – и тут началось! Мол, сидишь, как дебил, в своей дурацкой «многотиражке», ни помощи от тебя, ни денег! Даже тестя устроить на консультацию к профессору Музыченко не можешь!..

Самое страшное в жизни – это когда на тебя орет женщина в бигудях.

В универсаме было душно. Почувствовав копошащуюся боль в груди, несколько раз глубоко вздохнул и, чтобы переключиться, развернул только что купленную, холодную с мороза газету. На весь внутренний разворот разверзся подвалище под заголовком «Рядом с легендой».

«Расстреливать нужно за такие заголовки! – возмутился я. – Выводить в коридор и возле стенда «Лучшие материалы номера» – расстреливать!»

Мало того, в текст эти ублюдки офсетной печати совершенно нелепо заверстали фотографию бровастого старикана, усеянного наградами. Под снимком, разумеется, стояла подпись: «Фронтовики, наденьте ордена!»

Вскипая, я пробежал глазами первые строчки материала: «Неспокойно живет ветерану войны Семену Валерьяновичу Черенцову: нескончаемой чередой идут к нему люди...» Пробежал и замер, а потом, чтобы удостовериться еще раз, внимательно осмотрел фотографию. Ну конечно же, это был он – наш Ветераныч!

Детство мое прошло в заводском общежитии – доме богатого купца-оптовика. Когда грабили награбленное, дом наскоро переоборудовали под коммунальное бытие. Впрочем, поначалу, совсем недолго, в здании помещался районный комитет левых эсеров – скоротечных союзников большевиков. Без сомнения, сюда в сверкающем, как светлое будущее, лимузине наезжала «эсеровская богородица» Мария Спиридонова. Специалисты по отстрелу великих князей, эсеры, увы, не владели подлинно научным методом борьбы за власть. Это их и погубило. Вскоре после июльского мятежа 1918 года особняк «купчины толстопузого» отдали рабочим Второго молокозавода. Необъятный жилфонд, где бывалоча маялся дурью богатый оптовик, говоривший на четырех языках и коллекционировавший Матисса, при помощи фанерных перегородок поделили на тридцать восемь комнаток. С тех пор если одна семья наслаждалась кудрявой головой лепного купидончика, грозившего пальчиком с потолка, то другая ячейка общества имела перед глазами более прозаические части оног тельца. Когда же в субботу вечером все хозяйки разом на трех коммунальных кухнях начинали стирать белье в совершенно одинаковых оцинкованных корытах, по коридорам общежития полз такой густой туман, что ходить можно было только ощупью. В остальные дни корыта в три ряда висели на стенах, словно щиты предков в рыцарском замке.



Потом была война, такая долгая и кровавая, что новоиспеченный генералиссимус на победном банкете поднял тост не за мужество, не за героизм, но за долготерпение своих подданных.

У нас, ребят, родившихся в пятидесятых, имелась некоторая подробность: одни были детьми отцов-фронтовиков, другие – отпрысками родителей, не поспевших на поле брани. «Так ли это важно?» – спросите вы. Ответу: в будни, наверное, и не очень важно, но вот в праздники, особенно 9 Мая...

В этот день, звеня медалями, во двор нашего общежития выходил дядя Коля Калугин и, не выпуская изо рта дымящейся «беломорины», подзывал своего сына – моего друга Мишку, клал ему на плечо искалеченную двухпалую руку, и они отправлялись на угол пить соответственно пиво и лимонад. Это впечатляло, тем более что мой собственный отец непросто замешкался родиться и опоздал к всенародной схватке с фашизмом.

Наше общежитие имело свой собственный двор, забетонированный каменной стеной с воротами, запиравшимися на огромный засов. Все это осталось от купца-оптовика, который интересовался политикой и даже прятал у себя под видом дворника известного революционера-террориста.

Мы делили двор с заводской столовой, поэтому он всегда был завален пустыми ящиками, коробками, картофельной шелухой, а в здоровенных алюминиевых кастрюлях заветривались свежескобленные ребра и мослы. Казалось, наряд милиции недавно спугнул компанью подгулявших людоедов.

Именно здесь, «на ящиках», и собирались мальчишки общежития для решения своих серьезных проблем. Карманные деньги в ту пору водились только у Леника, сына заместителя директора молокозавода, поэтому на роль всеобщего эквивалента стихийно выдвигались то марки, то старинные монеты, то боевые медали... К этим знакам воинской доблести тогда относились без надлома, отцы охотно их выдавали детям для игр, а в случае потери ограничивались дежурными подзатыльниками.

Ходили по рукам и бесхозные медали тех, кто не дожил до того времени, когда на смену слову «фронтовик» окончательное пришло слово «ветеран».

К нам «на ящики» нередко заглядывал и даже подсаживался комендант общежития Семен Валерьянович Черенцов, пузатый, краснолицый дядька с мягким, задушевым голосом, каким в радиопостановках обычно говорят волшебники или маскирующиеся предатели Родины. В нашем общежитии Черенцова за глаза звали – «Ветераныч».

Итак, он приходил к нам «на ящики», подсаживался и некоторое время внимательно слушал, как мы захлеб пересказываем друг другу содержание фильма, виденного накануне в кинотеатре «Новатор». Потом, выбрав паузу, Ветераныч вздыхал и клал нам на плечи свои пухлые руки. На тыльных сторонах ладоней у него были синие пороховые татуировки: на левой – окутанная язычками пламени дата – «1941», на правой – перевитая лаврами и лентами другая дата – «1945». Мой друг Мишка, попытавшийся однажды наколоть на руке собственное имя и потом в течение месяца не имевший возможности сесть на вспаханный отцовским ремнем зад, уверял, будто сделать такую, как у Ветераныча, татуировку стоит больших денег...

Итак, Ветераныч клал нам на плечи свои пухлые ладони и говорил:

– Эх, пацаны, пацаны... Чирикаете тут под мирным небом, а сами не знаете, сколько за ваше счастливое детство отцов-дедов полегло!

– Знаем! – твердо отвечивал замдиректорский Леник. – Двадцать миллионов. В учебнике написано.

– А ты таблицу умножения знаешь?

– Знаю.

– Тогда написанное в учебнике завсегда на два умножай! Не ошибешься. Вымостили дорожку от Москвы до Берлина нашими косточками...

– Зато мы победили! – вмешался в разговор мой друг Мишка.

– Победили, – задумчиво согласился Ветераныч, достал жестянку с ландрином, заменившим ему папиросы, и, не предложив нам, бросил два зеленых леденца в рот. – А почему победили? Тут имеются два фактора. Во-первых, немцы сил не рассчитали – вот и подавились. Во-вторых, товарищ Сталин перед самой войной успел внутреннюю измену каленым железом выжечь!

– Сталин нарушал социалистический закон! – твердо пробарабанил вундеркинDISTый Леник.

– Дурак ты, – спокойно отозвался Ветераныч. – У товарища Сталина на все свой закон был. Понял? Поэтому с именем Сталина мы в атаку шли!

– Семен Валерьянович, – невинно удивился мой друг Мишка. – Вы, значит, тоже в атаку ходили?

– Ишь ты, подковыра какая, – покачал головой Ветераныч. – Думаешь, кроме твоего батьки, больше никто и не воевал?

– Тогда почему же у вас наград нет? – стоял на своем мой друг Мишка.

– Награды, пацаны, – вздохнув, пожаловался Ветераныч, – это как деньги: или много, или совсем нет... Судьба такая. Вот вспоминается мне боевой эпизод. Как-то ночью вызывает нас комбат и приказывает взорвать железнодорожный мост. «Вернетесь, говорит, каждому лично «звездочку» прикручу...» Ну, взорвали, вернулись, а комбата вместе со всем штабом тяжелым снарядами накрыло...

Боевых эпизодов в непроверенной фронтовой биографии Ветераныча было множество, для каждой ситуации он припоминал особенный, со значением и вдохновенно рассказывал нам, мальчишкам. Но зато, когда возле добротного, похожего на наковальню, доминошного стола мужики, отложив черные костяшки, до хрипоты спорили о том, кто умнее – Сталин или Жуков, о том, где опаснее – в танке или в чистом поле... в такие минуты Ветераныч помалкивал. А однажды подвыпивший дядя Коля Калугин отловил Ветераныча в непроглядном тумане большой стирки, схватил здоровой рукой за грудки и кричал на всеобщее внимание: «Что же ты пацанам врешь, тыловая твоя морда! Убью, как собаку!..»

Моего отца вызвали их разнимать, а когда он вернулся, я поинтересовался его мнением о фронтовой биографии Ветераныча. «Шут их разберет!» – ответил отец со злостью, потому что по вековой русской традиции ему, как разнимавшему, досталось больше всех.

На следующий день строгая Мишкина мать вела покорного с похмелья дядю Колю Калугина виниться к Ветеранычу.

– За что избил человека? – на ходу пилила она.

– Пусть не брешет! Фронтов-и-ик...

– А твое какое дело? Ты, что ли, не брешешь? Наливал тебе маршал Жуков? Наливал?!

– Ну, не наливал...

– Зачем тогда крестному врал, что наливал?..

Однажды мой друг Мишка затащил меня на чердак, вынул из кармана латунную зажигалку с откидывающейся крышечкой и гордо сообщил:

– Трофейная. С офицера зондер-команды взята!

– Откуда она у тебя? – сдавленно спросил я, и в моей душе заскреблись кошки зависти.

– У Ветераныча выменял.

– За что?

– За «Боевые заслуги»!

Внесу ясность: медаль «За боевые заслуги» (без колодки) мой друг Мишка выменял у одноклассника за серию треугольных марок «Бурундия», а марки, в свою очередь, он полу-

чил от замдиректорского Леника в обмен на подлинный, оглушительно хлопающий пастушеский кнут, вывезенный во время летних каникул из деревни. Заместитель директора молокозавода кнут выбросил на помойку, а Ленику за разорение отцовской коллекции было в течение месяца запрещено выходить на улицу. Возвращаясь из своей спецшколы, куда он ездил на троллейбусе, предъявляя личный проездной билет, Леник теперь садился на подоконник и, точно кот, неотрывно глядел во двор.

Мы решили проведать нашего заключенного товарища и заодно похвастаться Мишкиным приобретением. Рассудительный Леник внимательно осмотрел зажигалку, вполголоса прочитал иностранные буквы на крышке и проговорил:

– Да, в самом деле немецкая.

– Трофейная! – радостно подхватил мой друг Мишка.

– Не-ет, не трофейная, – поправил Леник, – гэдээровская...

Он подошел к раковине (у них единственных в общежитии был свой умывальник), ополоснул руки, затем подставил стул, достал с шифоньера ключ, отпер им отцовский секретер и выдвинул один из многочисленных ящичков. Мы заглянули в него, как в бездну. Там, среди полудюжины разнокалиберных зажигалок, лежала одна, точь-в-точь как наша...

– Гэдээровская... – повторил Леник. – Мы с мамиком на 23 февраля папику купили. Сразу сломалась.

– Вот гад! – возмутился по поводу Ветераныча мой друг Мишка. – Правильно ему батя морду набил. Врун чертов...

– Подожди! А твоя зажигалка работает? – неожиданно спросил Леник.

– Конечно, – ответил мой друг Мишка и, крутанув рифленое колесико, продемонстрировал нам сине-красный, пахнущий бензином лепесточек огня.

– Ветераныча нужно наказать за обман! – вслух рассуждал многомудрый Леник. – Но как?

– Пургена в чайник подсыпать! – предложил я самую жуткую месть из всех, бытовавших в пионерском лагере, куда я выезжал каждое лето.

– Мелко! – не принял Леник, привыкший в своей спецшколе к другим способам сведения счетов.

Заложив руки за спину и нагнув голову, он расхаживал по комнате.

– Что же делать? – вопрошал мой друг Мишка. – Что?

– Эврика! – вскричал Леник и стукнул себя по лбу. – Тут кое-что есть! Нужно поменяться назад и вернуть Ветеранычу зажигалку, но не твою, а мою – сломанную...

– Зачем? – хором не поняли мы.

– Эх вы! Повторяю специально для тугодумов... – ответил Леник знаменитой фразой из фильма «Фантомас».

Чем закончилось наше возмездие, помню я смутно. Леника за «починку» отцовского огнива досрочно освободили из-под домашнего ареста. Это точно. Мой друг Мишка, кажется, в последний момент застеснялся идти к Ветеранычу и с горя променял испорченную Леникову зажигалку на пугач с отломанным дулом. А вот Ветераныча 9 Мая видели где-то не на нашей улице – при медали «За боевые заслуги», болтавшейся на новенькой колодке...

Но это было только начало удивительных событий. Главное произошло, когда у нас в школе решили организовать Музей боевой славы. Оказывается, раньше в школьных зданиях всегда имелась так называемая директорская квартира. Кстати, в свое время это было очень удобно, потому что генералиссимус страдал бессонницей – и всем остальным приходилось ночевать на рабочих местах. Но после того как наш директор получил новую квартиру в Измайлове и переехал туда...

– А я говорю, вы здесь не стояли! – прямо над моим ухом раздался пронзительный женский голос.

– Ничего не знаю! Я занимала вот за этим мужчиной! – отозвался другой, не менее пронзительный голос. – Гражданин, подтвердите!

Я очнулся и увидел, что до кассы мне еще далеко, но зато позади меня вырос совершенно палеонтологический хвост, а рядом со мной стоит увядшая женщина и униженно заглядывает мне в глаза:

– Подтвердите, пожалуйста!

– Занимала! – кивнул я.

– Вот видите! – сварливо заликовала она. – А то взяла манеру: чуть что – сразу орать!..

...Обманув универсамовскую общественность, я вернулся к воспоминаниям. Итак, директорскую квартиру, в которой никто теперь не жил, отдали под Музей боевой славы. Был брошен мобилизующий и вдохновляющий клич: кто соберет больше всего экспонатов, тот на каникулы поедет в Ленинград! И еще одна очень важная деталь: экспонаты нужно обязательно сопроводить воспоминаниями ветеранов, так сказать, живым дыханием истории.

Разумеется, первым делом я бросился к дяде Коле Калугину и застал в их комнате интересную сцену. Мой друг Мишка обеими руками держал крышку дивана, а дядя Коля до пояса просунулся в его разинутую пасть. Вскоре он вытащил два черных погона с желтыми скукожившимися сержантскими ленточками. Увидев меня и мгновенно оценив оперативную обстановку, бывший отважный гвардеец-артиллерист вручил Мишке и мне по одному погону.

– Сами делите! – сказал он при этом. – Писать ничего не стану. Не умею я...

– Не умеет! – ехидно подтвердила Мишкина мать. – Третий год заявление на квартиру написать не может!

Поразмыслив, мы с Мишкой решили преподнести погоны как коллективный дар музею, тем более что без воспоминаний они для поездки в Ленинград были недействительны.

Через некоторое время, побывав в гостях у дальнего маминого родственника, я разжился подлинным гвардейским значком и тетрадным листком с рассказом о том, как в боях за освобождение Белоруссии танкисты покрыли себя неувядаемой славой и получили высокое звание гвардейцев, связавшее их со славными традициями русского оружия, о которых будущий генералиссимус внезапно вспомнил, когда немцы били по Москве чуть ли не из пушек. Для убедительности мама заверила тетрадный листок в заводоуправлении круглой колосистой печатью.

Но и мой друг Мишка не терял времени даром: от своего дяди он получил монокль и подробно изложенную на бумаге историю этой вражьей стекляшки, которая была обнаружена Мишкиным дядей-разведчиком в немецком штабе в стакане еще теплого чая, куда монокль выпал из полковничьей глазницы в тот самый миг, когда полковник резко вскинул брови, услышав невероятную новость: русские перешли границу тысячелетнего рейха!

Я и мой друг Мишка шли, как говорится, ноздря в ноздю. А в школе уже начали подводить предварительные итоги, и становилось ясно, что не нам, не нам достанется Ленинград с его Медным всадником, Летним садом, разводящимися мостами и потрясающим, если верить слухам, одиночным пломбиром...

Однажды вечером, когда я одиноко сидел «на ящиках» и горевал, точно сестрица Але-нушка, утратившая братца Иванушку, ко мне подрулил Ветераныч.

– Не прикрыли еще ваш музей? – поинтересовался он.

– Нет. А что?

– Нужны еще экспонаты?

– Нужны...

– Чего ж тогда ко мне не зайдешь?

– К вам? – искренне удивился я.

– Ко мне! Заходи! Есть одна вещица – память о фронтовом друге.

В тот же день я отправился к Ветеранычу. Никогда раньше бывать у него мне не приходилось, хотя в остальных тридцати шести комнатах общежития я неоднократно гостил и даже ужинал, если, случалось, родители опаздывали с вечерней смены.

Дверь у Ветераныча была железная. Рассказывали, что раньше там располагалась купеческая кладовая, куда галантный оптовик прятал от жены своих приятельниц.

Оказалось, Ветераныч жил очень даже неплохо: в углу стояла деревянная полированная кровать, а не какое-нибудь панцирно-никелированное сооружение, напоминающее спортивный батут. Рядом пристроились трехстворчатый шкаф и сервант с горкой. На стеклянной полочке большой хрустальный графин принимал парад рюмок и фужеров, а в глубине, среди чашек, плутал фаянсовый Сусанин с топором, заткнутым за красный кушак. Пол в комнате был так густо намастичен, что подметки при ходьбе прилипали к паркету и звонко отщелкивали. За окном, на прохладе, висела туго набитая продуктами авоська.

– Садись, красный следопыт! – пригласил меня Ветераныч.

Над столом, накрытым для вечернего чаепития, висел в рамочке небольшой, пожелтевший фотоснимок: три молодых, коротко остриженных бойца стоят обнявшись и радостно улыбаются друг другу.

– Это я! – гордо указал Ветераныч на одного из красноармейцев, самого худенького.

И это в самом деле был он.

– А вот – Витька Кирьянов, – ткнув пальцем, пояснил Ветераныч, – дружок мой... Пал смертью храбрых. Только пилотка осталась...

И Семен Валерьянович положил передо мной старенькую, засалившуюся на отворотах пилотку. В том месте, где раньше была звездочка, темнело пятиконечное пятнышко.

– Я для вашего музея воспоминания составил, – продолжал он. – Мне их в заводоуправлении девчонки – за шоколадку – перестукали. Гляди! – И Ветераныч достал из-под клеенки несколько страничек машинописного текста.

Если б сегодня кто-нибудь дал мне свои мемуары, выбитые золотом по мрамору, я бы, наверное, удивился меньше, чем в ту минуту.

Дома я внимательно прочитал воспоминания Ветераныча. В них рассказывалось о том, как взвод необстрелянных бойцов, получив приказ остановить прорвавшихся немцев, занял оборону возле деревни Васино. Солдаты окапывались на новых позициях, когда по большаку на бешеной скорости пропылил джип и какой-то широкоплечий политрук, помахав из кабины наганом, крикнул: «Держитесь, ребята!» И они держались. Когда были отбиты две атаки, старший сержант Кирьянов, принявший командование после гибели лейтенанта, позвал к себе бойца Черенцова и приказал идти к своим за подкреплением.

– Нет, – твердо ответил боец Черенцов. – Я не могу бросить товарищей!

– Ты должен! – настаивал старший сержант.

– Нет!!

– Я приказываю!!!

Боец Черенцов, преодолевая невероятные опасности, выполнил приказ, но когда к Васинскому рубежу подоспело подкрепление, ни одного защитника не было в живых.

«Всех наградить! Всех до единого...» – глухо повторял, стоя на краю дымящейся траншеи, вытирая слезы рукавом шинели, старый боевой генерал. Но утром генеральская «эмка» напоролась на мину, потом началось контрнаступление... И награды не нашли героев... «А я как самую дорогую награду хранил все эти годы пилотку моего друга старшего сержанта Виктора Кирьянова...» – так заканчивал Ветераныч свои воспоминания.

На торжественном открытии Музея боевой славы старший пионервожатый, дохлый рыжеволосый парень, любивший демонстрировать нам свои жидкие бицепсы, во всеуслышание объявил, что самый ценный экспонат и самые бесценные воспоминания подарил школе Семен Валерьянович Черенцов!

Из Ленинграда я привез моему другу Мишке взволнованный рассказ о разводящихся мостах и круглую коробочку пистонов, которые в Москве почему-то совершенно не продавались. Но Мишка отринул мои дары. По его мнению, я не имел никакого права обращаться за воспоминаниями к Ветеранычу. Я мягко, но твердо разъяснил, что в данном случае меня больше волнует героический образ старшего сержанта Виктора Кирьянова, заступившего дорогу фашистам на легендарном Васинском рубеже. Цель оправдывает средства!

Разошлись мы с моим бывшим другом Мишкой мирно, унося каждый по «фонарю»: он – под правым глазом, я – под левым.

Вскоре Ветераныч выступил у нас в школе на торжественном собрании. Ребята слушали, раскрыв рты, а учителя украдкой смахивали слезы. Я следил за извивами знакомого сюжета, отмечал новые живописные подробности и старался не смотреть на медаль «За боевые заслуги», висевшую на груди вдохновенного мемуариста.

Но мой бывший друг Мишка не сложил оружия, он развернул в школе энергичную контрпропаганду. Кончилось тем, что его доставили в кабинет директора.

– Если ты, гаденыш, будешь своим грязным языком поганить заслуженного человека, – взревел директор, вырастая над письменным столом, – я тебя в колонию отправлю!

И тогда опозоренный, но несломленный Мишка пошел на крайность – решил обо всем рассказать отцу. Вопреки ожидаемому, дядя Коля Калугин спокойно выслушал своего возмущенного сына и ответил примерно так:

«Бог с ним, с собакой... Всем тогда досталось. Я бы за ту войну всем медали повесил, даже младенцам!»

Очевидно, периоды примирения с действительностью бывают не только у великих писателей-сатириков.

А Ветераныч тем временем совершал триумфальное турне по школам нашего района, потом его стали приглашать на предприятия, в институты, воинские части... Нередко, сидя «на ящиках», мы видели, как к общежитию подруливает крепкогрудая черная «Волга» и из машины, держа в руках слюдяной кулек с гвоздиками, вылезает Ветераныч. Иногда он подходил к нам, отечески трепал по волосам и добродушно говаривал:

– Чем баклуши бить, лучше в стрелковый кружок запишитесь. Враг не дремлет!

– Он спит! – с ненавистью отвечал мой бывший друг Мишка.

– А вот ты – молодец! – словно не слыша, обращался Ветераныч к Ленику. – Учи языки – разведчиком будешь!

– Шпионом! – добавлял Мишка.

Прошло немного времени. Полыхая кумачом и гремя медью, промчалась круглая ратная дата, и на груди Ветераныча зазвенела законная медаль – юбилейная.

Во время славных торжеств произошли события, о которых просто необходимо рассказать. Во-первых, я помирился с Мишкой. Во-вторых, звезда Ветераныча взвилась на общественном небосклоне на недостижимую высоту.

Взлет звезды совпал с ежегодным слетом передовиков. Огромный дом политпросвещения был полон, проходы заставлены набитыми сумками, а в фойе еще продолжалась штурмовая праздничная торговля. В первых рядах сидели лучшие люди района и мы, красногалстучная пионерия, во главе с директором школы. Согласно сценарию, под звуки фанфар мы должны были гуськом побежать на сцену, туда, где за баррикадой зеленоскатертного стола сидел президиум, – и каждому вручить алую гвоздику – наш цветок. Потом, опять-таки

согласно сценарию, нам надлежало построиться в шеренгу и с выражением прочитать литературный монтаж. Лично я должен был звонко прокричать четыре стихотворные строчки.

Две в начале:

Враг подходил к столице  
Темнели гневом лица!

И две в конце:

Мы грозно шли к рейхстагу,  
Храня в сердцах отвагу!

Режиссер всего этого праздничного действия, нервно дергая небритой щекой, мотался вдоль первого ряда и повторял как заклинание: «Мальчики-девочки! Умоляю! Если забыли слово, пропустите и читайте дальше. Никто не заметит. Только, ради жизни на земле, не останавливайтесь!»

Торжественное заседание началось. Сначала выступил крупный руководитель городского уровня. Свой обширный доклад он явно видел впервые и всякий раз, запутавшись в придаточном предложении, поворачивался в сторону президиума и поверх очков строго смотрел на своих подчиненных. Докладчик с трудом доплелся до конца, состоящего из сплошных «да здравствует». Аплодировали ему долго и стоя, а он в ответ еле заметно кивнул залу и несколько раз вяло коснулся кончиками пальцев ладони.

Следом на трибуну поднялся старенький генерал. Он бесконечно перечислял номера частей, с которыми в ходе знаменитой фронтовой операции взаимодействовала вверенная ему бригада, а потом, помявшись, сообщил, что на победоносное завершение операции, несомненно, повлиял общеизвестный факт: перед началом наступления в расположение штаба прибыл молодой, но очень опытный политработник! И тут под шквал аплодисментов прозвучало имя крупного руководителя городского уровня. Тот нахмурился, словно бы недовольный навязчивостью бывшего комбрига, но потом все-таки с трудом улыбнулся.

Далее, олицетворяя живую связь поколений, выступил старшекласник из нашей школы. Текст, сработанный общими усилиями педагогического коллектива, он две недели, до маниакального блеска в глазах, заучивал наизусть, но в последний момент, разумеется, все перезабыл. И сидевший под самой трибуной директор, сложив ладони рупором, громко подсказывал слова алебастровому от ужаса старшекласнику. Между прочим, за подсказки никто директора из зала не выгнал.

Наконец, как гвоздь программы, как звезду торжественных заседаний на сцену запустили таившегося в задних рядах президиума Ветераныча. Он домовито устроился на трибуне, привычным движением поправил микрофон и, обведя грустными глазами праздничный зал, – без бумажки! – начал:

– У меня дома, в платяном шкафу, рядом с письмами фронтовых друзей, хранилась старенькая красноармейская пилотка. Ее носил на своей удалой голове старший сержант Витька... – Тут его голос дрогнул, он отхлебнул чая и продолжал: – Старший сержант Виктор Кирьянов...

Дальше шел общеизвестный рассказ о сражении возле деревни Васино. Люди слушали, всхлипывали и вздыхали, а лицо большого руководителя городского уровня постепенно просыпалось, оживало – и всем вдруг стало ясно, что это лицо самого обыкновенного человека, временно впавшего в номенклатурное оцепенение.

Когда же Ветераныч дошел до слов о том, как по большаку на бешеной скорости пропылил джип, как из машины высунулся широкоплечий политрук и, помахав наганом, крикнул: «Держитесь, ребята!» – случилось чудо. Руководитель резво вскочил со своего места и крикнул:

– Хлопцы, так то ж был я! Меня в штаб дивизии с донесением гоняли! – И он, распахнув руки, сквозь заросли живых цветов и стволы микрофонов проломился к Ветеранычу. Они обнялись и, похлопывая друг друга по спинам, слились в братском поцелуе.

– Вот это ход! Вот это сюжет! – лохматя волосы, бормотал сидевший рядом со мной режиссер.

– Все заранее подготовлено, – рассудительно заметил кто-то сзади.

– Не говорите чепухи! – драчливо обернулся режиссер. – Полный экспромт! Полный...

Когда Ветераныч под бурю аплодисментов закончил свое выступление и скромно направился в глубь сцены, большой руководитель городского уровня дружески кивнул на стул по правую руку от себя – и весь президиум дисциплинированно сдвинулся вправо...

...В Москве заканчивалась эпоха семейных общежитий. Самым первым, даже раньше, чем папик Леника, отдельную квартиру получил Ветераныч. Во двор въехала крытая военная машина, из кузова выпрыгнули солдатики и под командованием старшины принялись неумело грузить обильные пожитки Ветераныча, а он суетился вокруг них и жалобно покрикивал: «Только не поцарапайте, ребятки! Только поаккуратнее!..»

Погрузка заканчивалась. Пересчитывая коробки и узлы, Ветераныч ненароком заметил меня. Он помахал рукой и крикнул: «Когда вырастешь, просись в артиллерию. Богом войны будешь!»

Чтобы обсудить необыкновенную новость (до сих пор из нашего общежития по своей воле еще никто не уезжал!), я заглянул к моему другу Мишке и застал там двенадцатибалльный семейный скандал.

– Семену... Одинокому... Дали! – сквозь слезы причитала Мишкина мать. – А тебе, семейному, – шиш! Ты ведь тоже фронтовик!

– То-о-же!!! – взревел дядя Коля Калугин, и я понял, что период примирения с действительностью у него закончился. – То-о-оже! Я воевал, а он, гнида, по складам отирался и жопу отращивал!

– За что ж ему тогда ордер дали? – ехидно, сознательно выводя мужа из себя, поинтересовалась Мишкина мать.

– Подожди, ему еще и орден дадут!

– Коленька, родной, сходи, попроси! – изменила она тактику. – Тебе положено, ты инвалид...

– Если положено, пусть сами придут и скажут: «Николай Иванович, вам положено, вот вам ордерок на новую квартиру!..»

– Жди, прибегут! Совсем мозги пропил!

Понимая, что взрослые вот-вот перейдут от слов к делу, мы с моим другом Мишкой выскочили в коридор и, не сговариваясь, побежали в опустевшую комнату Ветераныча.

Железная дверь была распахнута, на паркете остались глубокие борозды: солдатики вытаскивали мебель без затей. На полу валялось множество листиков из отрывных календарей, или, как их тогда называли, численников. Мы стали подбирать их и складывать в стопку. Каждый листок помимо числа, месяца, года, а также времени восхода и заката сообщал еще какую-нибудь маленькую, строк на двадцать – тридцать, историю о чьем-то подвиге или героическом поступке. Судя по разнообразным датам, Ветераныч собирал эти сюжеты много лет...

Прошел год, и Леник вместе с родителями переехал на новую квартиру возле метро «Лермонтовская», ныне «Красные ворота». Потом и нам дали жилплощадь в Отрадном.



В конце концов дождался своего часа и дядя Коля Калугин. К нему в самом деле пришли из райсовета и сказали: «Николай Иванович, вот ваш ордер, собирайтесь!» Не выселив Калугиных, в доме нельзя было начинать капитальный ремонт. После ремонта в нашем общежитии поселились молодые парни и девушки, мобилизованные из деревень Тамбовщины для работы на молокозаводе. Обидное прозвище «лимитчик» тогда только-только входило в моду.

Однако в новой квартире дяде Коле Калугину пожить почти не довелось. Как-то в понедельник у него прихватило сердце, он побрел в поликлинику, заказал в регистратуре карточку, занял очередь. Когда его вызвали к врачу, он медленно встал, сделал шаг в сторону кабинета и упал прямо на руки медсестры...

После вскрытия Мишкиной матери сказали: пройди дядя Коля без очереди – его бы спасли. А ведь ему, как фронтовику, было положено – без очереди.

Что еще? Мой друг Мишка поступил в военное училище, служил на Дальнем Востоке, воевал в Афгане, он теперь майор. Леник окончил, разумеется, иняз, иногда по телевизору в передаче «Английский язык» он изображает ворчливого лондонского таксиста в клетчатом кепи. Что же касается меня...

– Так и будем спать? – вывела меня из глубокой, почти летаргической задумчивости нервная кассирша: оказывается, подошла и моя очередь.

На улице шел крупный снег. Я остановился возле самого яркого фонаря и снова развернул газету. На целую колонку расписывалось, какая необыкновенная, прямо-таки братская дружба связывает Ветераныча и одного крупного руководителя всесоюзного уровня – того знаменитого широкоплечего политрука, чьи неброские слова «Держитесь, ребята!» стали теперь крылатыми. Именно эти слова выбиты на цоколе монумента, воздвигнутого стараниями Ветераныча возле деревни Васино. Памятник представляет собой четырехметровую фигуру бойца, вытирающего пилоткой с лица пот, а может быть, и кровь... Гранитный красноармеец чем-то похож на старшего сержанта Виктора Кирьянова.

«А люди все идут и идут к Семену Валерьяновичу, идут за советом, за помощью, просто за добрым, мудрым словом...»

– Расстреливать нужно за такие концовки! – громко сказал я и вытряхнул снег из газетных складок.

Вечером, когда жена уселась перед зеркалом и аккуратно разложила перед собой бигуди, я с ленцой, даже позевывая, сообщил, что неожиданно вспомнил одного своего давнего знакомого, который, если его попросить, непременно устроит тестя на консультацию к профессору Музыченко...